

Теннадий
Смелянов

В ОГОРОДЕ БАНЯ



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
КАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

ч. кред. отд.

7/7) 88

Р2
Е-60
610450
Г. Емельянов
в порядке
билля

Киевского, 1980

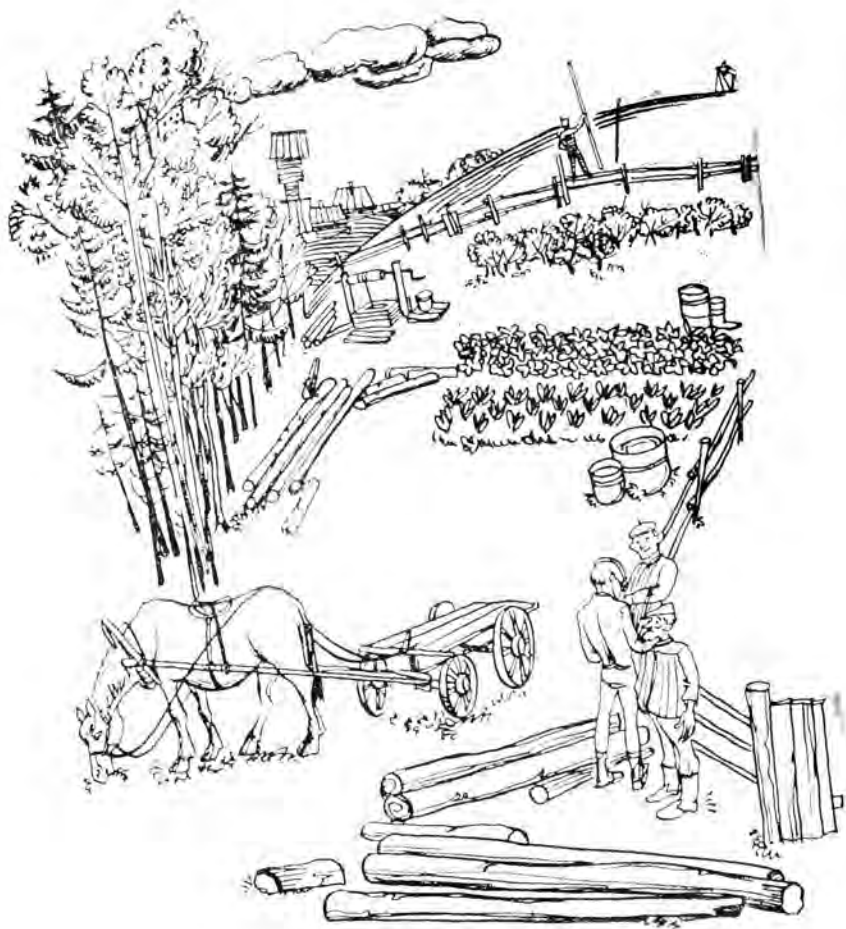
610450

В В, 1 мая, В, 1117-78

Читальный зал № 6
Библиотека
Общества

МК

КЕМЕРОВСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО





Т. Емельянов
**В ОГОРОДЕ
БАНЯ**

ПОВЕСТЬ

Центральная
национальная библиотека
Боровой фонд
г. Новокузнецк

610450

КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1980

Р
Е 60

Художник Б. В. Тржемецкий.

Е $\frac{70302-05}{М 145(03)-80}$ 20-80-4702010200

© Кемеровское книжное издательство, 1980

Глава первая

1

Павлу Ивановичу сказали, что директор здесь человек весьма энергичный, поймать его непросто и лучше всего ждать вот на этой скамеечке у входа, потому как этого места директор все равно не минует.

Павел Иванович сел на указанную скамеечку и достал из кармана темные очки, чтобы загородить глаза от солнца: день стоял жаркий, тополя на обочине дороги перед школой поникли от перегрева. На горе, в сосновой роще, коровы жались в тень и почти не двигались, будто нарисованные. На крылечке продуктового магазина дремала, заметно покачиваясь, простоволосая старуха, торговавшая огурцами и морковкой. Дверь магазина была растворена широко, дальше было темно и неясно. За прилавком, кажется, сидела продавщица в белом, напоминавшая отсюда ком снега. Павел Иванович не догадался уйти от солнцепека, и в его голове зашевелились невеселые мысли. Он думал о том, что ему всегда не везет, что первый день отпуска, считай, пропал и что сидеть так, пожалуй, вполне можно и до самого вечера. Из школы вышли две девицы в спортивных трико. Их руки были замазаны известкой. Девицы открыли вентиль у трубы, торчавшей неподалеку подобно дрессированной змее, и начали умываться под тоненькой струйкой воды.

— Девочки,— поднимаясь со скамейки, нерешительно произнес Павел Иванович,— вы директора, случаем, не встречали?

— Директор у себя,— ответили девицы и посмеялись в кулачки — просто так и потому, что в этом возрасте всегда смеются.

— А я жду! — пожаловался Павел Иванович.— Больше часа уже. И как же я проглядел его, удивительно!

— У нас еще со двора вход есть.

В школе стоял запах скоропалительного ремонта. Пахло краской, цементом и пиленным лесом. Лестница, ведущая на второй этаж, была загорожена партами. Павел Иванович сходу наткнулся на эти парты и начал глубокомысленно разворачиваться вокруг собственной оси: он искал глазами, у кого спросить дорогу. Две девицы, удивительно похожие на тех, что умывались теперь во дворе, подсказали: они лазают через парты, потому как пол на лестнице уже сухой. Павел Иванович, сопровождаемый хихиканьем, сносно преодолел баррикаду и бочком, семеня, начал подниматься по скрипучим ступеням. На втором этаже он прибавил шагу по скользким и блестящим доскам, но вдруг некая сила выбросила его из собственной обуви, следующий шаг Павел Иванович сделал уже в носках, прилип, как муха, и застыл посреди коридора с воздетыми руками, ощущая ужас. Еще два шага, и носки тоже остались на полу. Павел Иванович отлепил штиблеты, сунул их под мышку и воровской поступью двинулся вдоль коридора, с ломким хрустом выдирая ноги из свирепой краски. В темном углу пострадавший обулся, хотел было вернуться за носками, но раздумал возвращаться — лишь слабо махнул рукой, смиряясь с потерей.

Наконец, была найдена черная табличка с надписью «директор».

Директор был худ, светлоглаз, с юношеским румянцем на щеках. Связкой ключей, зажатых в кулаке, он

показал на стул, кивнув, и оборотился к человеку, сидевшему на диванчике:

— Так списывать, Евлампий, или, значит, не списывать? Вещь все-таки дорогая...

Человек держал на коленях аккордеон с перламутровыми боками, голова его лирично лежала на мехах, глаза были закрыты.

— Учитель пения есть у нас...

— В отпуске учитель пения!

— В отпуске... — Все так же не раскрывая глаз, человек с унылым носом мощно развел аккордеон во всю ширь до отказа и произвел такой звук, от которого, видел через окошко Павел Иванович, женщина во дворе уронила наземь таз с чистым бельем. Лошадь там же, во дворе, попятилась, насторожив уши, на всю длину вожжей, намотанных на столбик забора.



У Павла Ивановича долго звенело в ушах. Носатый человек с великой осторожностью поставил растянутый аккордеон на диванчик и вышел, сославшись на неотложные дела.

— Надо списывать! — с горечью сказал директор. — Заморский инструмент, дорогой, понимаешь...

— Можно, наверно, и подремонтировать, — неуверенно посоветовал Павел Иванович, косясь на инструмент: машина, сжимаясь теперь самостоятельно, издавала тяжкий стон.

— Дети, они вселомают, — пожаловался директор.

— Они вселомают, — с готовностью откликнулся Павел Иванович, имеющий в своем активе многочисленные факты о великой сокрушительной силе немощных детских рук.

Директор поинтересовался, по какому поводу товарищ наносит визит? Павел Иванович с достоинством отрекомендовался, сказав коротко, что преподает словесность в образцово-показательной школе города и здесь, в селе Красином, имеет дачу, купленную поздней осенью прошлого года.

Директор радушно встал из-за стола и протянул руку:

— Роман Романович Груздев, очпрятно!

— Павел Иванович Зимин. Взаимно.

Выяснилось: Роман Романович тоже работал в городе директором ГПТУ, но по ряду причин уволился, и судьба-злодейка занесла его вот сюда. Временно, конечно. Роман Романович отбывал в Красино нечто вроде ссылки. У него вырисовываются уже некоторые перспективы, но всерьез о них говорить пока рано. Да и здесь у него есть кое-какие интересы помимо работы. Об этих интересах он при случае скажет подробней.

Музыкальный инструмент на диванчике все кряхтел и постанывал. Павел Иванович мобилизовал всю свою недюжинную волю, чтобы сохранить на лице светскую

безмятежность: краска на ногах сохла, сжимаясь, и по коже будто водили рашпилем.

— Я слушаю.

Настала пора изложить свою просьбу, и Павел Иванович изложил ее в таком примерно духе. Человек я, мол, весьма непрактичный, поэтому хотя бы на первых порах мне требуется вроде бы наставничество.

— Чем могу, как говорится. С открытой душой, как говорится!

— ...Коли уж дача куплена (инициатива супруги, между прочим), надо ее, то есть дачу, во-первых, содержать не хуже, чем содержат люди, во-вторых, неплохо было бы кое-что усовершенствовать и довести до современных кондиций.

— Например?

— Например, построить баню. Я в городском магазине строительных материалов занял очередь, но там в эту пору туго с поступлениями, по существу ничего путного нет: сейчас ведь по всей стране дачная лихорадка, поэтому к вам вот и обращаюсь за помощью, уж не обессудьте. Неловко, конечно, но, может, и я вам когда-нибудь пригожусь, не правда ли?

— Баня — это хорошо! — Роман Романович вроде бы даже искренно обрадовался тому обстоятельству, что коллега из города первым делом задумал строить именно баню. — Для здоровья полезно и вообще... Сейчас все строят бани, весьма, понимаешь, ценное мероприятие. Тут недалеко, — Роман Романович махнул кулаком, в котором была зажата связка ключей, на окно, — есть дача монтажного треста, так у них даже бассейн. С полка, понимаешь, прямо в воду — нырь. Очень даже комфортабельно. Тебе бассейн не потянуть, одного цемента машин пять потребуется, да кафельной плитки ящиков с полста, если на глазок. Монтажникам легче, конечно, не за свою копейку бассейн заделали. Вчера их замуп-

равляющего встретил — жалуется: ревизии, говорит, замучили.

— Еще под суд кого-нибудь отдадут?

— Чепуха! Ревизоры тоже париться любят. И коньяк пить любят. Отмахнутся, богатые. Ты вот что, Павел Иванович, — директор мельком глянул на свои часы, — подходи вечерком, часиков этак в шесть. Прямо ко мне на квартиру. Я один сейчас, жена в городе. И обтолкуем все как следует. Я нужных людей приглашу, живу рядом, за школой первый дом по левому порядку. Квартира два. Да спросишь, если что, каждый тебе скажет. Устраивает такой вариант?

— Вполне.

— Значит, до вечера.

2

В половине шестого Павел Иванович, прихватив хозяйственную сумку, двинулся со двора своей дачи к центру села. У него было две дороги — мимо фабрики игрушек местпрома, по битому и пыльному большаку, или же по тропинке через бор. Тропинка вилась через поляну, на ней был выложен из мелких и побеленных камней круг, на старой сосне висел красный флаг. Это была площадка, куда раза два в неделю, иногда и чаще, приземлялись вертолеты, доставляющие из дальних геологических партий образцы руд для анализа.

За поляной начиналась невысокая, но крутая гора в корабельных соснах. Тропинка тянулась вдоль нового забора и выходила на центральную дорогу в город. С горки село просматривалось из края в край, опоясанное рекой. Вода блестела ярко и глубоко.

Павел Иванович выбрал путь по тропинке в гору и для начала заглянул в сельпо.

Жизнь на сельской улице текла осмысленно и подчинялась закону целесообразности: кому положено бы-

ло работать, например, тот и работал, кому положено было отдыхать, тот и отдыхал, сообразуясь с наклонностями, — дачники возились на грядках, высокое крыльцо единственной столовой обсиживали мужчины разных возрастов и пили пиво из бутылок, школьники укладывали вдоль дороги неширокий тротуар, человек десять дожидались у Дворца культуры начала сеанса.

Директор жил в доме на две семьи.

Павел Иванович остановился, прикидывая, какие ворота открывать — левые или правые? Правый палисадник был ухожен, ровные грядки зеленели, малина была пострижена и дорожка усыпана желтым песком. Левый палисадник зарос грязной травой, похожей на щетину, какой зарастают пропойцы, и малина выперла в два человеческих роста. Павел Иванович почти без колебаний открыл левую калитку и не ошибся: запущенный участок принадлежал директору Роману Романовичу Груздеву.

Компания была уже в сборе, двое сидели за столом: директор и еще какой-то румянолицый товарищ. На столе стояла недопитая бутылка «Московской», окруженная холостяцкой закуской. Третий (его гость заметил позже) стоял на коленях спиной к компании и сосредоточенно полоскал какие-то тряпки в жестяном детском тазике, подобранном, видимо, у песочницы. В комнате пронзительно воняло бензином.

— Не отмоешь, — сказал директор Роман Романович. — Бензин не возьмет.

— Отмою! — глухо и решительно ответил человек, не поворачиваясь. — Бензин не возьмет, ацетон возьмет.

— Кончай ты, Евлампий, эту волюнку, ей-богу! Голова же заболит. Как сойдутся, понимаешь, так и спор у них, — директор показал пальцем сперва на румянолицого, потом ткнул в спину третьего. — Позавчера, что ли, схватились: был Франко генералиссимусом или не был? Чуть не до драки схватились. Теперь носки эти: один

говорит «отмою», другой — «не отмоешь». Дети, честное слово!

Роман Романович небрежно кивнул гостю на стул возле окошка и, не спрашивая согласия, налил полстакана.

— Пей. Ты отстал, мы уже опрокинули по малой. Евлампий, понимаешь, носки в школе нашел, кто-то на краске оставил. Вот отмывает. Свирепую я краску достал в городе, да, Евлампий?

Третий не обернулся — продолжал полоскать носки в бензине и лишь воздел плечи:

— Краска ничего, но она, Роман Романович, скоро отскакивать начнет, кусками будет отскакивать.

— Что же ты мне про то раньше не сказал, Евлампий?

— Вам виднее, вы институт закончили. Я институтов не кончал.

— При чем здесь институт?

— Он грамотность дает.

— Нам про краски лекций не читали.

Роман Романович, уже слегка захмелевший, печально покачал головой:

— Мастеровой ты мужик, Евлампий, но темноты полон.

— Я и говорю, темный я.

Павел Иванович опрокинул водку разом, поймал вилкой кильку за хвост и съел ее с черным хлебом, округлив рот, вытолкал из себя сивушный дух. Он почувствовал, как покатился по горлу и мягко упал в желудок горячий комок.

— А ты темнотой своей не гордись, Евлампий!

— Я и не горжусь, Романыч. Чем гордиться-то? А носки я отстираю.

— Не отстираешь! — оживился румянолицый. — Это же синтетика, я плащ свой так же вот испортил. Синтетика, она растворяется от бензина, точно.

— Тебе плащи портить можно.

— Почему это можно?

— У тебя жена в торговле, сам ты рублей сто восемьдесят получаешь, все-таки прораб стройгруппы.

— Так у меня семья.

— Семья, да не та.

— Вы познакомьтесь,— директор кивнул Павлу Ивановичу на румяноликого: — Василий Гулькин, прораб стройгруппы при сельсовете, видная здесь фигура, он тебе чуть чего поможет.

Прораб привстал с табуретки и протянул Павлу Ивановичу руку, покашляв:

— Очень приятно.— Глядел же он в затылок Евлампия и говорил ему: — Ты думаешь, раз жена в торговле, значит, ворует, так надо понимать?

— Я ничего такого не выказывал.

— Но думал?

— И не думал сроду!

— Думал. Так скажу тебе, моя Прасковья — честная баба, копейки чужой не возьмет, если хочешь знать!

— Все они честные...

— Ты мою Прасковью не трогай, Евлампий!

— Да хватит вам, мужики, по пустому-то воду в ступе молотить! — с досадой оборвал их директор. — Краска что надо, Евлампий!

— Толку-то! — Евлампий, наконец, оборотился к ним, стоя на коленях. Лицо у него было длинное, большие глаза дымного цвета глядели сумеречно. Похоже, Евлампий очень хотел спать.

— Отмыл?

— Нет. Ацетоном надо. Где-то в гараже у нас есть немного ацетона.

— Ацетон не пойдет! — решительно встрял прораб Василий. — Я вот так же, говорю тебе, на скамейку сел в болоньевом плаще. Весь зад был зеленый, как у попугая. Мне тоже один дурак присоветовал ацетоном.

Дыра образовалась со сковородку величиной. Выбросил вещь. Восемьдесят рублей платил.

— Я и говорю — тебе платить можно.

— Ты кончай, Евлампий, Прасковья у меня женщина честная!

— А я и ничего.

— То-то же! Я за свою Прасковью спокойный.

Евлампий встал, потоптался, скрипя половицами, и вышел в сенцы, потом — на улицу. Воротился он с бутылкой темного стекла, закупоренной резиновой пробкой, и опустил ее опять на колени в углу.

— Ты чего это?

— Ацетон принес, он мигом краску отобьет.

— Упрямый ты, Евлампий, спасу нет! Ведь опять навоняешь.

— Ацетон, он легкий, не в пример бензину. Улетучивается быстро.

Павел Иванович видел, как снова зашевелились худые лопатки Евлампия.

Директор двумя пальцами приподнял за горлышко пол-литра, взвесил и, вздохнувши, разлил остатки.

— Грамм по пятьдесят, товарищи, не больше. Оно и в самый раз.

— Еще бы маленько, для бодрости духа! — сказал прораб Василий. — К Прасковье разве сходить? Так не даст, я с ней в ссоре, восстал против диктатуры.

— Я же принес! — спохватился Павел Иванович. — У меня есть водка, товарищи. Две бутылки есть!

— Вот это по-нашему! — оживился прораб. — Пол-литра на троих — это же смешно.

— Ты ее, Вася, как воду глушишь. Нехорошо! — Евлампий укоризненно покачал головой и подсел к столу посерединке, напротив окна.

Вася-прораб упрек Евлампия пропустил мимо ушей, поскольку был весь поглощен сооружением четырехэтажного бутерброда: на кусок черного хлеба толщиной

пальца в три прораб нарезал колесиками соленого огурца, поверх огурца положил пласт сала, поверх сала снова колесами лег репчатый лук и уже поверх лука была густо набросана килька. Бутерброд напоминал небольших размеров утюг. Прораб покосился на творение рук своих ласково, вожделенно и начал следить с хмурым вниманием за манипуляциями директора, разливающего по стаканам «Столичную».

Директор справился со своей задачей играючи, почти не глядя.

Павел Иванович заинтригованно ждал, каким же способом прораб Вася засунет в рот утюг, когда подойдет момент закусить.

Директор кивком призвал сдвинуть стаканы ради знакомства и выпить за здоровье присутствующих.

— Со свиданьем, — чинно произнес Евлампий и крикнул. — Чтоб, значить, дома не журились.

— И чтоб не последняя была, — добавил прораб Вася и выпил свою порцию без всякого усилия — действительно, как воду. Бутерброд между губ не пролез. Павел Иванович почувствовал облегчение, потому что оказался прав: проглотить такую махину было явно выше человеческих возможностей. Прораб же не растерялся и начал поедать бутерброд слоями, сверху; сперва в дело пошла килька, потом — лук и так далее.

Евлампий опять обреченно поплелся в свой угол, но скоро возник у стола, посапывая: носки он, конечно, погубил — ацетон съел ткань, она развалилась в руках, словно труха. Прораб своей правоты торжествовать не стал (некогда было торжествовать) и лишь скривился, пренебрежительно махнув рукой: чего, мол, с тебя взять, серая ты личность!

— Это — Павел Иванович Зимин, — сказал директор Роман Романович и указал на гостя вилкой с нанизанным на ней куском сала. — Он хочет срубить баню. Настоящую, чтобы в селе такой ни у кого не было.

— Похвально,— сказал Евлампий.

— Поможем, мужики!? — призвал Роман Романович.

— Какой разговор! — с участливостью откликнулся Евлампий. — Без товарищеской подмоги никак нельзя: один, известно, не воюет. Вон полковник Толоконников уж пятый год, поди, дом-то строит. Не видал, по левую руку стоит без крыши такой? С электрички сойдешь, по левую руку и стоит.

— Не обратил внимания как-то...

— Вы обратите внимание. Полковник, он праведный человек, а сухая ложка рот дерет. Да и один он, полковник-то. А размахнулся куда с добром. Грит, внуков у меня много, чтоб на каждого по комнате осталось, когда, значит, умру. Я ему косяки рубил. Ничего мужик, справедливый: заплатил по совести. Одному нельзя. И еще изловчиться надо уметь — где достал, где выпросил, где и украл, не без того. Я вам откровенно, не скрываючи ничего. Сладим вам банешку, ладную и в срок, не горюйте.

Глаза директора сделались лазоревыми и яркими, как у кинозвезды, он подпер скулу кулаком, мысли его витали где-то весьма далеко, где-то в заоблачных высях.

— Ты, Павел Иванович, обратил внимание, надеюсь, на слова, сказанные мною утром.

— На какие слова, Роман Романович?

— Я тебе сказал насчет того, что, кроме работы, я имею дополнительный интерес к этому селу. Именно к этому.

— Что-то в таком роде было, Роман Романович...

— По специальности я историк.

— Знаю.

— Ты не перебивай, Павел Иванович.

— Я весь внимание.

— В чем он состоит, мой дополнительный интерес именно к этому селу? А состоит он вот в чем. По линии

общества «Знание» я читаю лекции на тему «История родного края».

— Весьма похвально и любопытно.

— Я в твоих похвалах, Павел Иванович, не нуждаюсь, уж извини.

— Я слушаю...

Прораб Гулькин косился на слоеный бутерброд, гордась, видимо, своей изобретательностью, и деликатно зевал — речь директора его утомляла, потом не мешало бы и выпить.

— В городском историческом музее я, сам понимаешь, частый гость. Творческий подход к делу требует и научных изысканий.

— Похвально.

— Я в твоём поощрении не нуждаюсь, Павел Иванович. Ты уж извини.

— Ничего, — Павел Иванович никак не мог попасть в точку и решил молчать.

— И вот в архиве я наткнулся на бумагу. Это было донесение полицейского чина по инстанции. Копия хранится у меня в городской квартире. Я снял копию. Полицейский чин доносил по инстанциям, что ему удалось, наконец, с божьей помощью и ротой солдат настичь в тайге и убить атамана, беглого каторжанина, некоего Сыча, банду же его частью полонить, частью рассеять. Но суть не в том. Ты почему молчишь, Павел Иванович?

— Весьма и весьма любопытно, Роман Романович!

— Это и без тебя ясно, Павел Иванович.

— Конечно...

— И не в том, повторяю, главное. Полицейский чин доносил еще, что, по достоверным сведениям, Сыч успел зарыть неподалеку от села Красиного сто пудов золота.

— Ого! — Прораб Гулькин сильно потряс головой и выронил изо рта кильку, которую до того вяло жевал. —

Полторы тонны, вернее тысяча шестьсот килограммов, ничего себе!

— Так вот, по моим прикидам, клад лежит в земле до сих пор.

— Весьма любопытно! — Павел Иванович не верил, что клад лежит где-то до сих пор. В каждом сибирском селе существует легенда про золото, зарытое купцом имярек или утопленное в реке. До сих пор никто ни разу сказочное богатство не находил. И не найдет.— И очень даже!

— Чего очень даже?

— Любопытно.

— Пустое говоришь, Павел Иванович! — Директор покашлял, смял в руке сигарету и бросил ее в пепельницу.— Я не хвалюсь, но я тот клад найду.

— Вот даже как!

— Найду. У меня есть метод. Верный метод.

— И куда ты это золото денешь? — спросил Евлампий сонным голосом.— Таковую сумму пропить невозможно.

— Темный ты человек, Евлампий!

— Институтов не кончал.

— Плохо, что не кончал. Я человек открытый и нежадный, но я поставлю одно условие: средства должны использовать на общественные нужды и по моему усмотрению. Я хочу, чтобы в селе Красно было построено Дворец спорта с искусственным льдом, вот как!

Евлампий засвистел, прораб Гулькин сронил с губ вторую кильку. Павел Иванович поник головой и начал доставать из кармана носовой платок.

— Почему это... лед искусственный? — робко подал голос прораб Гулькин.

— А ты читал, что где-нибудь в селе есть Дворец спорта?

— Нет вроде бы...

— А у нас будет!

— Да-а-а... Тяпнем по махонькой? — лукаво улыбаясь, предложил Гулькин. — За Дворец спорта.

— С удовольствием! — откликнулся Павел Иванович с облегчением.

Глава вторая

1

Утром на следующий день Павел Иванович не испытывал ни похмелья, ни угрызений совести, сопутствующих обычно крепкой выпивке. Проснулся Павел Иванович на раскладушке в летней кухне, когда солнце было уже довольно высоко, закурил сигарету и отдался воспоминаниям. Не все вчерашнее можно было воссоздать с достаточной четкостью, но отдельные моменты высвечивались довольно ярко.

Прораб Гулькин после первой бутылки, принесенной Павлом Ивановичем, снял с бутерброда лишь слой кильки, вяло сжевал ее и вдруг загорюнился.

— Дворец спорта. Хе! Баня — лучше. Баню надумали рубить, так?

— Да, представляете! — Павел Иванович поклонился с достоинством и перетащил табуретку в уголок, поближе к прорабу. — Если вы позволите, я изображу на бумажке свой замысел.

— Изображайте.

— Длина сруба — девять метров, ширина — два с половиной.

— Ничего себе баня, вы уж чересчур, по-моему, замахнулись! — изумился прораб, вздымая брови. — Это вам не Дворец спорта.

— Не люблю тесноты.

— Таковую баню и не натопишь, — сказал Евлампий, подвигаясь к ним. — А рубить как думаете?

— В смысле?

— В лапу, в угол...

— Я не понимаю...

— Он не понимает! А черта у вас есть?

— В смысле?

— Чего пристали к человеку! — осадил мужиков Роман Романович. — Он, может, и топор-то в руки не брал ни разу, городской товарищ, откуда ему знать ваши премудрости?

— Действительно. — Павел Иванович радушно прижал ладошку к сердцу. — Я пришел к вам за консультацией. Я научусь. Как ведь говорят в народе: каждый должен вырастить детей, посадить дерево и построить дом. Я для начала хоть баню хочу.

— Правильно, — сказал Евлампий. — Я их столько срубил — и не сосчитать. Я поди-ка целый город срубил с населением тыщ на несколько. Как будто с топором и родился. Дворцов, правда, не рубил.

— Видел я, как ты рубишь! — прораб Вася пренебрежительно и устало махнул рукой. — Так разве что беременные бабы рубят. Халтурщик ты. Разбаловали тебя дачники.

— Повтори! Повтори, а я послушаю!

— Я повторять не стану, — прораб опять махнул рукой, показывая тем, что тема исчерпана и продолжать в том же духе он не намерен. — Я вот лучше товарища послушаю, в его замысел вникну. Давай, Павел Иванович. Значит, сруб в чистоте будет девять метров на два с половиной, так?

— Так.

Евлампий туго сопел и покачивался, вцепившись в табуретку, он, видать, соображал, чем бы таким необычным сразить Гулькина. Но ничего пока не придумывалось, и это обстоятельство уязвляло Евлампия до глубины души.

— Из какого леса рубить собираетесь?

— Не имею представления. Из пихты, может быть? Пахнет она хорошо. Или из сосны?

— Дорого выскочит вам эта баня. Осинник — самое то, правильно я говорю, Роман Романыч?

Директор, подперев кулаком голову возле уха, смотрел в окно, улыбался и насвистывал песенку. Он вздрогнул, когда прораб притронулся к его плечу, и кивнул с готовностью:

— Здесь все из осинника рубят. Практично и дешево.

Вася-прораб, уставясь в потолок, пошевелил губами и подбил итог:

— Семь с половиной кубов пойдет, как раз на тракторную тележку.

— Оно, пожалуй...

— А рубить надо в угол, так, — прораб скрестил перед собой кулаки. — Промерзать не будет.

— Здесь все так рубят, — сказал директор и опять засвистел песенку.

— Ты, Роман Романович, сможешь товарищу лесу-то выписать или я? — спросил Гулькин.

— Завтра сбегает, — ответил директор. — Мужики там ко мне вроде ничего относятся. Дадут.

— Куда денутся!

— Завтра, Павел Иванович, нарисуйся часиков этак в десять, и в самый раз получится.

— Хорошо, Роман Романович. Спасибо.

— Рано еще спасибо-то говорить. Спасибо — это потом.

— Еще по махонькой? — вкрадчиво спросил прораб, нацеливаясь на початую бутылку.

— Наливай, Вася, что ж... Однаво живем, верно, Павел Иванович?

— Оно так, Роман Романович.

Директор, по-прежнему глядя в окно, насвистывал песенку, Вася-прораб делал из спичек сруб и важно сопел.

— Я вам моментом все досконально растолкую, — посулился прораб. — Это насчет бани. Споровка кой-какая нужна, конечно, но и не боги горшки обжигают, скажу я вам. Научитесь, было бы желание.

— Спасибо вам, Василий! А по батюшке, извините, как?

— Тихонович.

— Спасибо, Василий Тихонович.

— Двигайтесь ближе.

Роман Романович дал Евлампью ключи от своего кабинета и велел принести аккордеон — директор хотел петь непременно русские и непременно старинные песни.

Аккордеоном владел кое-как тот же Евлампий, и поначалу дело двинулось ладно. Роман Романович затянул, вздрагивая головой, приосанившись, «из-за острова на стрежень». Вася Гулькин подхватил песню сочным басом. Павел Иванович сперва лишь шевелил губами, но после и его голос робко вплелся в хор. Начало, то есть «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны», они вывели при общем согласии, довольно сносно и только набрали дыхания, чтобы продолжить, как в аккордеоне что-то хлюпнуло и тут же нахлынул рык такой страшной силы и густоты, что прораб Василий Тихонович Гулькин повалился на пол вместе с табуреткой и глаза его были круглы от ужаса. Прораба кое-как выпутали из табуретки и поставили на ноги.

Песню они допели до конца, до самого того места, где Стенька Разин бросил княжну в воду ради того, чтобы не портить компании.

— За что он ее так? — спросил с недоумением директор у присутствующих, и все видели, как он снял с глаз набежавшую слезу.

— Хулиган был, и все тут! — сказал Евлампий. — Да и напился, поди, с утра, ему у Прасковьи разрешения не спрашивать.

— Ты Прасковью не тронь, она честная баба.

— Твою Прасковью в омут не бросишь — тяжелая.
— Не тронь, говорю!
— Какую еще исполним, товарищи?
— Любую, Роман Романович, ты запевай, только с тона не сбивайся.

— Не собьюсь, я в студенческом хоре солистом был, если ты хочешь знать, Евлампий!

— Оно и видать.

— «Под чинарой густой мы сидели вдвоем...»

В середине песни, невыразимо печальной и длинной, Павлу Ивановичу почудилось, что где-то рядом трещит забор и ржут кони. За окном в синих сумерках несколько раз мелькнули какие-то тени, вроде бы тревожно переговаривались люди, но на все эти шорохи, тени и звуки просто некогда было обращать внимание.

Дальше была каша. В памяти остались обрывки картин, не имевших ни начала, ни конца.

Вот прораб Василий Тихонович рвется куда-то, но Евлампий его не пускает, уговаривает посидеть, отрезать немного и потом уж сторонкой пробираться домой.

Вот Павел Иванович сидит рядом с директором, ощущая его горячее плечо, и о чем-то тоскует. Тоскуют они вместе и, кажется, по поводу нелегкой учительской доли.

— Тебе, Паша, нечего жаловаться, ты отработал свое и — к телевизору, а на моих плечах школа, Паша, да интернат еще. Лошади, машина, трактор, подсобное хозяйство... Голова кругом. Выворачиваешься, клянчишь, лаешься, как собака.

— Тебе ужасно тяжело, Рома, я понимаю!

— Ничего ты не понимаешь!

— Почему бы мне и не понять?

— Надо побывать в моей школе, Паша.

— Может быть. Но нет у меня административного таланта, Рома!

Кто-то вроде бы приходил к директору и уговаривал его не играть больше на аккордеоне и не будоражить соседей. Еще что-то вроде было?

Домой Павел Иванович подался в одиночестве, и когда свернул от большой дороги в бор, остановился, пораженный тихой красотой ночи, и сел на пенек. Внизу огни села мерцали призрачно и слабо, будто уголья затухающего кострища, вверху шатром висело небо в звездах, посередине неба вверх рогами, качаясь, плыл месяц. Густо пахло хвоей и грибами. Павел Иванович опять загрустил, поразившись мысли о своей бренности, о временности пребывания на этой земле. Он позавидовал тем, кто останется после нас, и, может быть, тот, **другой**, потомок, однажды равнодушно пройдет сквозь такую же вот ночь и не заметит дивной ее красоты. Потомок будет сухой и рациональный человек, поглощенный зряшными заботами, и сердце его не замрет перед непреходящим великолепием этого мира. На памяти кстати оказалась строчка французского поэта: «Зачем я приходил, он уходя сказал...»

— Зачем я приходил? — крикнул Павел Иванович, рассчитывал услышать эхо, но его почему-то не было. И Павел Иванович заплакал.

2

Павел Иванович пробрался на второй этаж школы через запасной ход со двора и ровно в десять по уговору был в кабинете директора.

Роман Романович сочинял приказ и, напряженно сощурившись, смотрел в потолок — думал над тем, как точнее сформулировать мысль: ведь приказ — документ юридический, он не терпит двусмысленности и разночтения. Роман Романович кивнул гостю не очень вежливо и опять вперился в потолок, морщась.

Явился Евлампий. Он был хмур, с помятым лицом и в кепке, глубоко надвинутой на лоб. Кепку Евлампий не снял, опустил на диванчик в углу, побряхтывая.

— Ну что? — спросил директор.

— Нету.

— Ищите! Ребятишек пошли, не сквозь землю же они провалились.

— Мери-то жеребая.

— Кто сказал?

— Завхоз сказал.

— Чего это она уже и жеребая?

— Она всегда жеребая, недаром же — Мери! Скинет, нам отвечать.

— Я еще и за кобылу ответчик!

— Вы — всему голова, Роман Романович.

Директор, вздохнув, потер шею:

— Не было печали! — и пояснил Павлу Ивановичу с кисловатой улыбкой: — Вчера гармошкой лошадей распугали. Конюшня рядом. Ворота высадили лошади, забор свалили и скрылись в неизвестном направлении. Ну, и музыкант ты, Евлампий!

— Виноват я, что ли? Инструмент, понимаешь, какой-то дикий: не играет — ревет. Аж мороз на коже собирает.

— А пели ведь!

— Мы бы и на собственном пузе вальс сполнили, — вяло отозвался Евлампий. — Вчера мы все могли.

— Да. Ну, ладно. Ты, Евлампий, пошли ребятишек коней искать, мы вот с Павлом Ивановичем по делам сбегает на гору, в лесхоз. Айда, Павел Иванович.

— Я готов.

— В столовую заглянем?

— Я не хочу есть.

— А я хочу — жена в городе, готовить некогда. Айда за компанию.

— За компанию пойдем.

Столовая помещалась в огромном рубленом доме и имела высоченное крыльцо, ступенек, пожалуй, в десять, выложенное из кирпича и побеленное. Поэтому казалось, будто дом улыбается издали белозубым ртом, зовет и дразнит. Когда Павел Иванович с директором пересекли пустырек и подступили к изножью монументального крыльца, сверху, ударившись о директора, энергично скатился небольшого роста мужичок в коричневом берете. Берет он уронил вниз, подобрал его, отряхнул о штаны и повернулся лицом к ним. Тогда только Павел Иванович узнал прораба Васю Гулькина и еще несколько спустя понял, что прораб скатился так поспешно отнюдь не по собственной неловкости — сверху его подтолкнула толстенная женщина с румяным и приятным лицом пятнадцатилетней девочки. Женщина стояла, уперев кулаки в бока, наклонив свою изящную головку к плечу, и смотрела с добродушным любопытством, как прораб Гулькин поправляет на себе костюм и отряхивает берет.

— Ступай на работу! — сказала женщина грубым голосом.— Там люди ждут, а он тут к бутылке пристроился с утра пораньше.

— Зря ты так, Прасковья,— уныло и несердито сказал Вася, натягивая берет.— Я бы и сам ушел.

— Шагай, шагай!

— Зря ты так, Прасковья,— Вася робкой поступью, словно шел по красным углям, приблизился к Павлу Ивановичу и сунул ему согретую в кармане железку.— Это черта. Себе ковал когда-то,— Вася исподлобья глянул вверх и шепотком пожаловался: — Прасковья не в настроении сегодня. Да сейчас иду, дай словом перекинуться с человеком!

Толстая женщина переступила, как шагающий экскаватор, ступенькой ниже, и прораб Вася шмыгнул носом, вбирая голову в плечи.

— До свидания. Заглядывайте.

— Обязательно, Василий Тихонович. Обязательно! Уши прораба были шибко оттопырены и розово просвечивали, как два георгина.

Зал столовой в этот час пустовал. Лишь в дальнем углу, обставленный бутылками, сидел за столом Евлампий. Он и здесь не снял своей кепки с длинным козырьком, лицо его было полно тихого просветления. Роман Романович со стаканом сметаны остановился возле Евлампия, спросил строго:

— Лошадей ищут?

— Послал девятиклассников...

— Ты тоже не засиживайся здесь.

— Бутылочка вот еще осталась.

— А остальное?

— Васька покупал, да Прасковья его припутала, за шиворот вытолкала. Сильная женщина!

Тропинка вилась сквозь сосновый бор, как ручеек.

В бору было тихо и благодатно, вверх без живости цвикали птахи, сквозь мощные кроны деревьев пятнами проступало небо, уже напоенное зноем, на гулкой земле золотилась прошлогодняя хвоя, внизу проблескивали шиферные крыши сельской улицы.

— Я ведь, официально если, так со вчерашнего дня в отпуске. По графику у меня отпуск.— Директор приостановился, дожидаясь Павла Ивановича.— Потому и расслабился малость. Здесь мы все на виду — деревня.

— Да, деревня...

— Я бы и остался в Красино работать, да жена против. В городе опять квартира, бросать жалко. А здесь мне интересно.

— Понял уже. Ты вчера сочно про клад рассказывал.

— Про какой такой клад? — Роман Романович встал, будто вкопанный, косясь через плечо на Павла Ивановича сердитым взглядом.

— Который атаман Сыч зарыл.

— Болтал я, значит? Проболтался! Действительно, водка — зло. И мужики слышали?

— Слышали.

Директор ударил себя рукой по сухой ляжке:

— Надо же! На тебя я надеюсь, Павел Иванович.

Ты — человек интеллигентный, а вот Евлампий...

— Да он забыл, поди, про все.

— Вряд ли.

— Чего ты так разволновался? Или нафантазировал?

— Нет. Но ведь объяви всем, что я клад ищу, дурачком сделают, засмеют. Деревня ведь!

— Деревня. А ты ищешь?

— Ищу, между нами. Мне в Томск срочно скатать надо, в архивах порыться. Ах ты, незадача какая — проболтался!

— По-моему, нечего тебе расстраиваться, Роман Романович.

— Ты здешних мужиков не знаешь.

Потом до самого лесопункта директор туго сопел, шевели выгоревшими бровями, и не сказал больше ни слова. Павел Иванович намеревался спросить, правда ли, что Роман Романович собирается истратить золото атамана Сыча на Дворец спорта с искусственным льдом, но вопрос такой после некоторого раздумья не задал, опасаясь, что приятель, чего доброго, поворотит назад и никакого леса на баню не выпишется. Павел Иванович, как всякий разумный человек, был немного и дипломатом.

В лесопункте дело обладилось быстро.

Роман Романович шепнул что-то человеку в форменном кителе, тот кивнул и позвал из смежной комнаты

другого человека, тоже в форменном кителе, и командовал:

— Выпиши товарищу. Товарищ лесу просит.

Заплатил Павел Иванович за десять кубометров осинника сущий пустяк — что-то около двадцати рублей.

— Что думаете рубить? — поинтересовался главный, копаясь в бумагах.

— Он думает баню рубить, — ответил Роман Романович, — по всем правилам чтобы — с предбанником, чайком и всякое такое. Чтобы посидеть можно было, понежиться... Баня, она пужна.

— Без бани нет той утехи, — глубокомысленно сказал главный и положил на угол стола фуражку, которая мешала ему под локтем. — Мне вот тоже свою перебрать надо, валится уже банёшка, отец еще рубил.

— Тебе и карты в руки.

— Все некогда. Срубите, так приглашайте — такое событие отмечать положено.

— За нами не станет! — заверил главного Роман Романович.

Глава третья

1

Настала пора, наверно, несколько слов сказать о главном герое нашего повествования — о Павле Ивановиче Зимине, учителе словесности.

Павел Иванович на детство свое обижаться не имел права — был он любим, поэтому, наверно, вырос добрым. Одно обстоятельство сильно угнетало Павла Ивановича и в детстве, и теперь — непоследовательность: он считал, что не умеет достигать поставленной цели, и начинания его, большие и малые, неизбежно терпят провал.

Первым пронзительно острым желанием — иметь проекционный аппарат, чтобы показывать разные фильмы, Пашка Зимин, тощий и лопоухий пацаненок десяти лет, проникся до самого дна своей живой природы. Проекционный аппарат (он тогда почему-то назывался аласкопом) имел по соседству сын хирурга Эдик. Пашка с согласия родителей начал копить деньги, он рачительно складывал полтинники, десятушки и пятачки в копилку, в гипсового кота, купленного на базаре. Кот был раскрашен свирепо, глаза у него были как две зеленые ягоды, усы длинные, белые, шея обвязана муаровой лентой с бантом. На загривке кота была дырка, куда медяшки падали, будто на тот свет — они исчезали без звука, и кот, заглатывая таким манером средства, паскудно шурился.

Копилка тяжелела, возделенная цель была уже не за горами, но тут старшей сестре к новогоднему вечеру, нож к горлу, приспичило иметь, во-первых, шелковую кофточку, во-вторых, волчью маску, в-третьих, балетные туфли — пуанты. Сестра по поручению совета пионерского отряда должна была танцевать волка из басни Крылова. Денег как назло в доме не было, мать уговаривала погодить до получки, но уговоры были тщетны — сестра села на подоконник и завыла, не переводя дыхания. Пашку завораживали слова «пуанты», «балетная сюита», «совет отряда». Это были слова из другого, недоступного мира, и Пашка, млея от собственного возвышенного благородства, навернул кота молотком по башке. На пол тугой нескончаемой струйкой потекли монеты, потекли мятые рубли и тройки. Сестра вытье тут же пресекла, слезла с подоконника, рухнула на колени и, шевеля губами, начала считать капитал. Выяснилось, что Пашкиных монет хватит на все. Мать мимоходом погладила сына по голове, сестра сгребла деньги в узелок и побежала в магазин через дорогу. Аласкоп таким образом отодвинулся.

Пашке купили второго кота, поменьше, скопленные по малости деньги пошли на лаковые штиблеты двоюродному брату, уже взрослому. Брат прибежал утром, когда Пашка был в доме один, и загоревал, всплеснувши руками: хотел, мол, подзанять до получения несколько червонцев, в магазине обувь выбросили необыкновенной модности, а не хватает малость. Пашка опростал копилку вторично. Брат сулился деньги вскорости вернуть, но слова своего не исполнил. Парнишка же, повздыхав, наконец подавил в себе желание приобрести проекционный аппарат и фильмы к нему.

В шестом классе Пашка Зимин на пару с сыном хирурга Эдиком приступил к осуществлению грандиозного проекта — они начали строить аэросани. Идея исходила от Эдика, феноменального прожектора. Эдик сказал, что достаточно построить коробку, согласно чертежу из журнала «Техника — молодежи», который Эдик видел своими глазами, поставить помянутую коробку на три лыжины, соорудить двигатель, состоящий из двух шестерен — большой и маленькой, прикрепить к малой шестеренке самолетный винт, и вся система рванет быстрее ветра. Один, сзади, таким образом, крутит винт за ручку на манер мясорубки, второй рулит, куда угодно душе. В любую погоду, между прочим, и по снегу любой глубины. Милое дело!

Пашка видел аэросани во сне каждую ночь, он не вылезал из сарая — пилил, строгал и клеил. Трудился как раб, которому была обещана свобода. Лгун Эдик был однажды выдворен из сарая с помощью тяжелой столярной киянки за систематическое отлынивание от работы и за измену святому товариществу. Эдик убежал домой с круглым фонарем повыше переносья и больше не возвращался, лишь наблюдал за работой издали, с забора, и неистощимо строил интриги. Пашка тем временем нашел инициативных помощников, и грандиозный замысел семимильными шагами двинулся к своему во-

площению. Не хватало лишь шестерен, но милый друг Васька Косых разобрал ночью дедову крупорушку, при-волок недостающие детали в сарай под полую с надле-жащей таинственностью. Однако создать двигатель у компании не хватило умения, тогда по общему согласию азросани решено было опробовать без винта и для на-чала покататься с горы.

Азросани напоминали огромную собачью будку, по-валенную набок; впереди для пущего обзора была вмон-тирована почти целиком оконная рама, баранкой слу-жила половина железного колеса от конной косилки, все сооружение было покрашено охрой и просматрива-лось за несколько верст.

Азросани вытащили на санную дорогу, бежавшую круто вниз, к избяным пригородам. Пашка важно надел краги, сшитые бабушкой, и влез на переднее сиденье, толпа с гиком надавила сзади, и сани понеслись. Сразу обнаружили конструкторские неполадки — заклинило рулевую лыжу, и Пашка налетел на повозку, которая везла бочку, привязанную к розвальням веревкой. По-сыпалось стекло. Лошадь оскалилась и поперла в снег; вниз с горы, соря капустой, покатила огромная бочка. В ней, выяснилось позже, было двести пятьдесят кило-граммов капусты «провансаль». Пашку вытянули из по-мятых азросаней. Он был обсыпан стеклом и крепко жмурился, боясь открывать глаза.

Потом на Пашкиной квартире милиционер составлял акт, показания давал усатый возчик, черный старик. Капуста была погублена, и ее стоимость три месяца выплачивала по суду Пашкина мать. Сани были броше-ны на месте аварии и растащены по частям.

С тех пор утекло много воды, но первую свою и крупную неудачу Павел Иванович запомнил надолго. Потом он собирал маркй, в пересыщенных растворах растил кристаллы, выпиливал лобзиком, пробовал на-

бывать чучела птиц, рисовал акварелью, ходил одно время даже в секцию бокса, а в восьмом классе, будучи уже довольно взрослым и ниспровергателем основ, полюбил американскую актрису Дину Дурбин. Сразу после войны в кинотеатрах городишка, где жил Пашка, шел фильм с ее участием — она играла школьницу, ездила на велосипеде и нежно пела песенки. Пашка Зимин собрался в Америку, чтобы найти в большой стране маленькую женщину и сказать ей напрямую о своем неизбывном и вечном чувстве. Этот порыв был не сиюминутный, поворотить Пашку с избранной дороги не мог бы, пожалуй, никто, если бы не старый журнал «Кино», где была статья об этой американской звезде. Фильм, оказывается, снимался аж в 1929 году, и Дине Дурбин, как показывали элементарные арифметические выкладки, к тому моменту, когда пышным цветом расцвела и окрепла Пашкина любовь, перевалило шибко за сорок. Удар был коварен и жесток тем, что, будто топор палача, обрывал на корню всякие надежды. Но Пашка не удавился на бельевой веревке, он вдруг начал хорошо учиться и весь ушел в себя. После школы был филологический факультет Томского университета, и студент Зимин, застенчивый очкарик, превзошел всех: к пятому курсу он в совершенстве знал два языка — французский и английский, по остальным предметам имел круглые пятерки, знания его были прочны и обширны. Один профессор старой школы на выпускном вечере назвал Павла Зимина настоящим интеллигентом, каких наши вузы выпускают, увы, немного, и гордостью университета. Еще профессор подчеркнул особо, что коллега Зимин не остался на кафедре, (а предложение такого порядка ему делалось) и предпочел научной работе школу. Этот жест весьма похвален и достоин поощрения. Профессор сказал еще, что он кланяется коллеге Зимину и глубоко сожалеет вместе с тем об утрате, которую понесет в связи с его уходом наука.

В школе Павел Иванович Зимин быстро стал образцово-показательным учителем, его без конца приглашали выступать на конференциях, его просили писать статьи о современной английской литературе, его вот уже несколько лет переманивает пединститут, гороно носит его на руках и загружает всякими утомительными поручениями. Павел Иванович безропотно тянет нагрузки, и терпению его поистине нет предела...

2

К бане Павел Иванович приобщился неожиданно. Год назад один не очень близкий приятель позвал нашего героя попариться. Вечером в субботу, предварительно созвонившись, они двинулись на автобусе в пригород, где жила в своем доме тетка приятеля, и Павел Иванович в этот исторический для себя вечер впервые приобщился к святому и некороткому действу. После бани ласковая старушка угостила их чайком с липовым медом. Домой они вернулись в состоянии нежной утомленности, и с тех пор в конце каждой недели Павел Иванович не отходил от телефона — ждал: пригласят его на этот раз или не пригласят, позовут или не позовут? Его звали, потому что человеком он был компанейским и мягким в обхождении. Мало-помалу сколотилось нечто вроде сообщества из трех-пяти постоянных членов, самозабвенно полюбивших русскую парилку. Был написан и даже принят единогласно Устав Общества Любителей Бани. Принят он был после долгих обсуждений и имел лаконичную форму. Павел Иванович завел специальную папку, куда складывал вырезки из журналов и газет со статьями, касающимися прямо или косвенно банных дел. Он узнал многое. Узнал, например, что впервые книга о русской бане, как то ни странно, появилась во Франции. Автором ее был отставной лекарь царского двора, он весьма компетентно рекомендовал

французам пользоваться баней на наш манер как процедурой великого профилактического свойства. Павел Иванович вычитал также, что еще в семнадцатом веке Европа не знала мыла и дочь одного, опять же французского короля, умерла в молодые годы от заурядной вшивости.

Однажды парился учитель Зимин в компании. Долго они парились. Переговорено было немало и про всякое. Начали, кажется, с небывалой засухи в Ингерии, после как-то незаметно прибились к несколько традиционной проблеме физиков и лириков. Павел Иванович произнес блестящий монолог о гуманитариях — о людях, которые мыслят, как правило, широко и нетрадиционно.

С полка, бросив веник, сполз тучный заместитель управляющего строительным трестом, мужчина тихого нрава, расходующий себя весьма рачительно. Заместитель притулился рядом с Павлом Ивановичем и засвистел носом. Он всегда свистел, и особенно громко, когда думал. После некоторого молчания приятель спросил, медленно цедя слова. Он будто отбивал телеграмму, и каждое слово этой телеграммы стоило дорого.

— Ты, Паша, можешь хоть гвоздь, например, заколотить, куда надо?

— При чем здесь гвоздь?

— А вот и причем. Рассуждать-то нынче все мастаки, делать — не каждый способен.

Учитель понял, что дискуссия выкатилась из академического русла, и, задетый за живое, пустился во все тяжкие:

— Я вам уже говорил, что купил дачу?

— Было такое, — ответил заместитель.

— Так вот. К зиме срублю на даче баню. Своими руками! — крикнул Зимин, чтобы пересилить голосом исходящий из носа инженера свист.

— Сам?

— Да. Вот этими руками!

— Моей помощи не просить! — отрезал инженер-строитель Григорий Сялыч.

— Ни в коем случае!

— И сам все достанешь?

— Сам и достану!

— К зиме, значит?

— К зиме. По рукам?

— По рукам!

Все предыдущее было сказано нами для того, чтобы вскрыть исток острого желания учителя словесности Павла Ивановича Зимина построить на даче баню. Павел Иванович сам любил попариться не вскользь и по случаю, но длительно и ритуально. Это одна сторона дела. Вторая заключалась в том, что учитель Зимин хотел создать как бы базу, как бы мужской клуб для членов общества, имеющего все официальные статусы, за исключением разве что счета в банке и круглой печати. Учитель знал, что в случае провала строительства несмываемый позор падет на его голову, но иначе поступить не мог, поскольку, кроме прочего, хотел, наконец, и самоутвердиться, хотел показать всем, что он не только эрудит и книжный червь, но человек хваткий, удачливый и вполне вписывается в современные стандарты. Успех избавил бы Зимина от комплекса неполноценности, который прятался втуне, глубоко, и мешал дышать полной грудью.

В журнале «Наука и жизнь» была найдена статья с цветной вкладкой, на которой изображались бани разных типов и назначений. Павел Иванович без колебаний выбрал набросок архитектора Келли и взял его за основу, усмотрев в нем целесообразность простоты. Баня эта — рубленый дом с острой крышей — состояла из двух отделений: собственно парилки с полком, топкой и предбанника. Просто и ладно. На то и академик Келли. Вдобавок академик архитектуры ничего такого не выдумывал, положась исключительно на опыт поколений.

Поставить сруб учитель Зимин собрался за время отпуски и всю работу закончить к зиме.

3

Спал Павел Иванович на раскладушке в летней кухне, насквозь дырявом сооружении из горбылей и неструганных досок. На кухне сквозило, ветерок ночью сочился сквозь многочисленные дыры со шмелиным гулом. В смутной предсонной зыбкости Павел Иванович ощущал, радуясь неизвестно чему, множество запахов, и когда в темноте он открывал глаза, то всякий раз видел сквозь выбитый сучок на крыше лохматую звездочку. Звездочка качалась и никогда не увеличивалась размером, только бледнела к утру и пропадала. Небо было здесь такое же, как и в городе, только вроде бы новое, будто освеженное красками, очищенное, оно было здесь просторней и выше. На восходе щели между досками протрачивались рубином, пламенели вершины сосен, влажная зелень темнела, над ней курился томный парок.

Пора вставать, подниматься!

Павел Иванович сперва производил разные дыхательные движения по системе йогов, потом была общая разминка, бег на месте, приседания и всякое такое, потом следовал массаж всего тела и водные процедуры.

Павел Иванович вылил на себя первый ковшик воды из железной бочки. Вода была холодной, Павел Иванович визжал, как женщина, увидевшая мышь.

Широкую улицу тем временем вяло переходил дед Паклин из дома напротив, и азимут он держал на калитку учителя.

— Привет суседу! — издали и громко крикнул Нил Васильевич Паклин, старожил здешних мест.

— Доброе утро, Васильевич! — бодро ответил учитель Зимин, направляясь встречь. — Милости просим. —



Павел Иванович кругло повел рукой, приглашая старика присесть на скамейку в теничке. Скамейку эту Павел Иванович сколотил сам и покрасил зеленой краской.

— Некогда, гражданин хороший. — Дед все еще забывал, как зовут нового дачника.

— Присядьте хоть на минуточку.

— Тута постою. — Нил Васильевич обнял штакетник и распластался на нем. Дед был до того худ, что Павлу Ивановичу уже не в первый раз представлялось, будто под рубашкой и штанами его вовсе нет тела. Еще поражали глаза старика — они были отделены от сущего, от живой души, и смотрели всегда с одинаковым выражением потусторонности. Эти глаза были холодной совестью высшего порядка.

— Курить есть?

Павел Иванович сбегал в летнюю кухню

за сигаретами, дед тряскими руками долго управлялся со спичками и задымил, глядя в небо, подернутое еще туманцем, уже редким и высоким.

— Знойко будет.

— Пожалуй...

— Я тебе говорю — знойко будет! — повторил дед с оттенком досады.

— Совершенно верно.

— Баню-то рубить не раздумал?

— Да вот завтра-послезавтра с утра собираемся лес валить.

— С кем это?

— Евлампий из школы обещался помочь.

— Это который? Синельников Евлампий?

— Синельников. Он в школе слесарем работает.

Дед пососал замокревшую уже сигарету и попросил другую.

— Вы его знаете?

— Здеся я всех знаю.

— Надо думать! Он ничего мужчина?

— Это кто?

— Ну, Евлампий?

— Да ить как сказать...— Дед раздумчиво пожевал плоскими бескровными губами, глаза его жутковато глядели куда-то поверх головы учителя, не участвуя в разговоре.— Уросливый он мужик. А так ничего, мастеровой. У других бывает, что руки к заднице суровой шиткой пришиты, Евлампий же, он ничего. Зашибает только.

— В каком смысле?

— А пьет.

— И сильно?

— Всяко,— неопределенно ответил дед Паклин.— Всяко пьет. Голосовать пойдешь? А, ты же городской, тебе голосовать не надо. Все забываю. То одному ит-

тить неохота. На обратной дороге загляну, совет один дам тебе.

— Буду ждать, Нил Васильевич.

Нил Васильевич домой возвращался часа через два, когда солнце пекло уже во всю силу. Дед сам открыл калитку, сел на зеленую скамейку в тени дома и слабо позвал:

— Есть кто живой?

Павел Иванович лежал на раскладушке в сених и читал стихи Иосифа Уткина.

— Я здесь!

— Садись-ка рядом, поговорим ладком.— Дед дышал неровно, в груди его хрипело и клохтало.— Вот ты баню рубить собрался, а черта у тебя есть? Без черты совсем нельзя.

Павел Иванович сходил в летнюю кухню и достал с полочки железку, которую сунул ему прораб Гулькин при весьма драматических обстоятельствах, и в протянутой руке принес ее деду Паклину. Тот взял железку, покатал на ладони, будто горячую, и положил на скамейку рядом с собой. Железка как железка, она напоминала вилку, имеющую с двух концов по два загнутых зуба — с одного покрупнее, с другого — помельче.

— У меня черта лучше. Мою чуть чего возьмешь.

— Спасибо,— Павел Иванович не имел решительно никакого представления, для чего предназначен этот нехитрый инструмент — черта, но выпытывать у деда Паклина про то не решился, подумав: «Настанет момент, спросим».

Нил Васильевич сцепил на животе черные руки с пальцами, похожими на корневища, приосанился и повел речь о первых выборах зимой одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года.

— Я тогда был уполномоченным кредитного товарищества, и поручили мне возить урну по дальним займам. Рысак был — огонь. Только, значит, ветер в ушах:

и-и-и! — да снег лохмотьями из-под копыт. Знатко было. Да и я тогда в самом соку ишшо, в жилочках кровь наигрывала.— Дед постучал себя по карманам, собираясь закурить. Павел Иванович протянул ему свою пачку, но Нил Васильевич отказался взять сигарету.

— Крепости в них почти что и нет, сосешь, как мокрый сучок. Я вот махры лучше, эту зыбанешь, так окалина с заду сыпется. Махры прикупил по дороге — и дешево, и сердито. Счас что? Сунул бумажку, пошел. Ни музыки, ни благолепия никакого. Сидят тама, зевают. Раньше, бывало, факела зажигали. И-и-и-и!

Павел Иванович уже заметил, что поначалу, для завязки, так сказать, Нил Васильевич говорил последовательно и логично, потом же вдруг, то ли из полного пренебрежения к собеседнику, то ли по лености или старости, начинал изъясняться прерывисто. Было такое впечатление, что у одной или нескольких шестеренок в голове деда не хватало зубьев и шестеренки эти начинали проворачиваться с неприличной поспешностью или же наоборот — их заедало и вертелись они с натугой.

— Почто, мол, старухи нет твоей? Я за старуху свою не ответчик.— Дед повернулся к Павлу Ивановичу и ожег его странными своими глазами. На доньшке глаз робко пробивалась голубизна, будто на дне колодца, едва различимые сквозь серую тяжесть воды, лежали вразброс осколки голубого стекла.

— Моя черта лучше, мою и возьмешь. Лес где валить будете?

— Не знаю, Евлампий знает.

— Ничего он не знает, твой Евлампий! На Черной речке надо валить.

— Я ему скажу про Черную речку.

— Скажи. Мой сарай видишь? — Паклин от плеча повел кривыми пальцами направо, где маячила загороженная соснами крыша его дома.— Тама у меня сарай есть, сам рубил. Бревна от реки таскал, два бревешка

свяжу, понимаешь, и утром по росе, когда трава склизкая, и попер. Тогда моложе был...

— Там же сплав, там лес, Нил Васильевич, государственный.

— Конечно, государственный, от казны лес-то.

— Значит, воровать советуете?

— Почто, поди, воровать-то? Его, лесу, по берегам видимо-невидимо валяется, все одно сгниет. Здесь все берут, только клейма спиливают, чтобы, значит, инспектор не придрался.

— Я на это не могу пойти, Нил Васильевич.

— Ну, и дурак. Я ить от добра советую.

— Понимаю.

— Ни шиша ты не понимаешь. Но поймешь. Тогда и про мой совет вспомнишь. Вот так. Отставной полковник Толоконников также моего совета не послушался и пятый год дом колотит. Видел его дом? Он возле станции?

— Не обратил внимания. Мне уже про тот дом говорили, надо будет заглянуть при случае.

— Тоже все по-честному хочет, полковник. В магазине материалы покупает, да в кооперации когда выписывает, квитанции отдельно складывает — для ревизоров. Добрый капитал ухлопает человек. А зачем? Где можно за поллитровку дело спроворить, он, глядишь, сотню выкладывает. Седой уже весь, а рассудок как у дитя малого, тьфу ты, прости господи! И ты такой же — хочешь, чтобы овцы целые были и волки сытые. Взятся строиться — крутись, смекай, приглядывайся. Да. — Дед приставил ладонь ко лбу козырьком, загораживаясь от солнца: какое-то движение на улице привлекло его внимание. Павел Иванович заторопился:

— Вы ведь здесь давно, Нил Васильевич?..

Дед опустился на скамейку, не отнимая руки ото лба:

— Сказано — всю жисть.

- Вы, наверно, слышали про атамана Сыча?
- Кого?
- Про атамана Сыча, говорю?
- Много их тут было, атаманов... Филька Кривой, Семка Брюхин, Варлаам Гнедой, Матвей Криворукий, Сафьян Хмельной, Гурьян Свинцова Глотка. Этот расстрига, из попов был.
- Кто?
- Гурьян Свинцова Глотка. Бывало, как запоет, стекла в избах ноют. Сам его видел, к отцу моему заворачивал когда, мироед проклятый.
- А Сыч?
- Может, и Сыч был какой-нибудь...
- Слышно, он клад закопал?
- Может, и зарыл... На что они сдались тебе, атаманы?
- Интересуюсь.
- Другим чем интересуйся. Ну, пошел я однакова. Бывай.
- До свиданья, Нил Васильевич.

Глава четвертая

1

Как треляют лес?

И что такое трелевка леса?

На эти два вопроса Павлу Ивановичу Зимину обещал дать исчерпывающий ответ Евлампий Синельников, имеющий понятие обо всем на свете.

— Мне мозгу не запудришь! — сказал Евлампий. — Я лесу за свой век стрелявал мильён кубов или больше. Дворец спорта можно отгрохать какой хочешь высоты. Мы это запросто.

Павел Иванович рано поутру нашел Евлампия в школьной мастерской, тот сидел на засаленной лавочке,

прислонив голову к тискам, с закрытыми глазами, бледный, как пассажир корабля, испытывающий приступ морской болезни. Евлампий поздоровался скупой, голову с тисков не убрал, он обращался с ней осторожно, будто внутри ее, под редеющими волосами, было стекло или другой материал, не терпящий грубого обращения. Оставалось на лбу Евлампия вывести черной тушью предупредительную надпись: «Осторожно, не кантовать!»

Павел Иванович догадался, в чем дело, и произнес как можно равнодушной:

— В столовую пиво привезли. И очереди нет.

В глазах Евлампия появился некоторый интерес к жизни, но вздохнул он с печалью.

Павел Иванович снова был на высоте:

— У меня деньги есть.

Евлампий плелся в столовую шаткой походкой, держа рукой за сердце.

Пиво, действительно, только что привезли, и у буфета лишь намечалось некоторое шевеленье, мужики лишь подтягивались к столовой. Павел Иванович прикинул, что через полчаса здесь будет натуральная давка, и собирался уже было взять сразу десять бутылок, чтобы не занимать очередь во второй раз, но Евлампий, морщась, показал растопыренную ладонь: пять, больше не надо, и, попросив взаймы два рубля, протиснулся за фанерную дверь, загороженную бочками, пробыл он там недолго, вернулся слегка зарумяненный и с игривостью во взоре.

За столиком в углу, возле большого окна, Евлампий без передыху, через горлышко, подрагивая острым кадыком, выдул бутылку пива, сделал передых, утер рукавом губы и блаженно улыбнулся, оглаживая впалый живот:

— Вот теперь и ладненько! Спасибо, Павел Иванович, выручил ты меня. За город говорить не берусь, а в деревне жить трудно.

— Почему?

— Вот вчера, например, ужинаю. Да. Шурыка черт несет: «Забыл разве, Евлампий, что у твоей единоутробной сестры Антонида день рождения? Ждали тебя, значит, ждали, а тебя, значит, нет и нет. Собирайся, пошли!». Разве откажешься?

— Неудобно.

— Вот оно и есть — неудобно! И питье это, — Евлампий указал пальцем на бутылки, — мне не в масть: голова болит, сердце давит. И не откажешься!

— Не откажешься, верно.

— Вот то-то оно и есть. Знакомых много. Все знакомые. Сегодня день рождения, на завтра дом рубить позовут. Опять не откажешься?

— Не откажешься.

— Послезавтра сосед свинью заколол, опять Евлампий подсоби. Ну, а коли подсобил, пить заставят. Ить заставят?

— Заставят.

— Не отвертись?

— Бесполезно.

— И я о том же — бесполезно! Дачники еще: тому то, тому это...

Стул, на котором сидел Павел Иванович, вдруг повело и качнуло. Было такое впечатление, будто столовая вместе с очередью, буфетом и кухней отчалила и поплыла вниз по улице села. Павел Иванович ничего не понимал, он видел, что очередь у буфета не рассыпалась и пейзаж за окном не переменялся. Все осталось на своих местах, лишь уши давила тишина.

— Прасковья! — запаниковал Евлампий.

— Ну и что?

Павел Иванович ясно глянул в глаза опасности, поскольку не чувствовал ни перед кем вины, но тут же потупился: Прасковья приближалась, как крепостная башня. Она вроде бы и не переступала ногами, она



вроде бы ехала на колесах, подталкиваемая сзади мощным и бесшумным механизмом. Красивая и круглая ее головка, приставленная по роковой ошибке к чужому телу, была склонена набок, красные руки были вдавлены кулаками в бока. Евлампий, склеив губы ниточкой, стал подниматься толчками, будто клоун, которого надувают автомобильным насосом.

Вид у Евлампия был унылый, он жевал ртом и замороченно смотрел куда-то в угол.

Прасковья остановилась близко, от нее несло жаром, как из поддувала печи.

— Где мой?—спросила Прасковья и положила руку на плечо Евлампия. Плечо надломилось, и Евлампий сел, слышно ударившись о стул.

— Откуда же мне знать, Прасковья Семеновна! Он сам по себе, я — сам по себе.

— Все вы одним миром мазаны, пропойцы вонючие!
— Я к числу таких себя не отношу, Прасковья Семеновна. У меня семья.

— Вы и родную мать пропьете. Семья у него! А ну марш отсюда! Ишь чего, с утра прикладывается, глаза бы мои на вас не глядели, тунеядцы!

— Я при деле, Прасковья Семеновна.

— Только что при деле. Марш отсюда!

— Прошу не оскорблять. И на вас управа найдется, Прасковья Семеновна.

— Чего!?

Павел Иванович увидел тут совсем уж непотребную сцену: рубаха Евлампия оказалась вдруг на затылке, собранная узлом в кулаке Прасковьи. Глаза Евлампия стали узкими, как у зайца, которого держат за уши, руки повисли, голова болталась на плоской груди. Тело его пересекло в висячем положении наискосок зал столовой и было вышвырнуто наружу.

Ватными руками, оглядываясь, Павел Иванович начал укладывать пивные бутылки в портфель. Он плохо помнил, как обогнул по дуге Прасковью, стоящую перед очередью в буфет, и очутился на улице. Тут он остановился и раскрыл портфель. Там были лишь бутылки, а книжка стихов Эдуарда Рукосуева — местного поэта из начинающих — исчезла, она осталась на столе в столовой. Зимин еще со времен студенчества всегда таскал с собой литературу, чтобы в любую свободную минуту было чем себя занять. Вернуться или не вернуться? Павел Иванович потоптался некоторое время и решил не возвращаться: во-первых, дома у него была еще одна такая книжка, во-вторых, стихи никто не возьмет. В крайнем случае отдадут буфетчице, потом при случае можно будет испросить пропажу. Учитель не хотел признаваться даже самому себе, что ему страсть как неприятно будет столкнуться еще раз лицом к лицу с монументальной Прасковьей.

На улице разгуливался благодатный денек. Река на плавной излучке за селом была усыпана блестками. Павел Иванович вздохнул, успокаиваясь, и сошел с высокого крыльца.

Евламий показал из-за будки с литерой «м» мучное от переживаний лицо и покрутил ладошкой, маня к себе.

— Айда на конный двор,— шепнул Евламий затравленно,— там она до нас не достанет.

2

На школьный конный двор пробирались задами. По дороге Павел Иванович имел глупость сказать, что стыдно мужчине трястись перед какой-то неразумной бабищей. Давно пора по всем статьям поставить ее на место. Пусть своего прораба третирует, иных прочих задевать она не имеет решительно никакого права.

Евламий даже остановился, споткнувшись, и глянул на Павла Ивановича с укором:

— Нельзя ее поставить на место. Она все может.

— Да кто же она такая в конце-то концов?

Евламий замешкался на долю секунды с ответом и почесал затылок:

— Так она — Прасковья! Тут один тоже, здоровенный мужчина, в тельняшке. Да. Как напьется, глаза навылуп и айда скулы воротить кому попало. Милицию гонял, до того дело доходило. Никакого сладу с ним. Ужасной свирепости товарищ был. Позвали Прасковью. Она туфлю с ноги сняла и туфлей его промеж глаз. Мозги стрясла, какие еще оставались, в больнице месяц валялся.

Павел Иванович даже несколько зауважал Прасковью и все-таки, как человек интеллигентный, не смирился с бесцеремонностью этой женщины, ему претила грубость, однако импонировало мужество. Павел Ива-

нович таким образом твердо не определился в отношении Прасковьи — уважать ее должно или не уважать — и положился на обстоятельства: время покажет, подумал учитель, да и потом в конце концов не детей же с ней крестить, с Прасковьей-то!

— Туфлей, говоришь, она его, да?

— Ну. А туфель, понимаешь, с кованым каблуком оказался. Глаза у него к переносью скатились, окривел начисто. В Одессу собирается. Там, мол, больница есть, где косоглазие лечат. Деньги копит, не пьет.

— Отучила, выходит?

— Она отучит!

— Где она работает хоть?

— В кооперации. Заместитель председателя. Вся торговля в ее руках. Фигура здесь. Она и председателем станет. Ничего такого удивительного нет.

— Деловая?

— Любого мужика за пояс затолкнет.

Конный двор был обнесен плетеным тыном, к бревенчатой конюшне примыкала чисто выметенная площадка, крытая шифером, на стене сарая аккуратно висели хомуты, череседельники и другая справа. Пахло дегтем, прелой соломой и конским потом. Двустворчатые двери конюшни были растворены настежь, за дверями было темно и смутно.

Евлампий устало опустил на скамейку в торце пристройки под навесом и кивнул на портфель, который Павел Иванович до сих пор держал в руке.

Бутылка снова была во мгновение ока выпита через горло, унылое лицо Евлампия чуть просветлело:

— Посиди минуточку, Паша. Я мигом. — Он нырнул в нутро двора, некоторое время Павел Иванович слышал его шаги по деревянному настилу, потом шаги заглохли.

За спиной Павла Ивановича вдруг застонал плетень после глухого удара. С плетня посыпалась труха, и по

ту сторону его в чем-то огороде раздался блаженный стон. Так стонать человек не мог, и Павел Иванович, испытывая жуть, сопротивляясь самому себе, на цыпочках прокрался к загородке, налег на нее грудью: что там? А там в луже, наполненной маслянисто-черной грязью, каталась огромная свинья. Голова свиньи, неправдоподобно большая, лежала на валике из картофельной ботвы, словно на подушке. На другой стороне лужи, будто конец штопора, торчал из грязи хвост, совсем несолидный для такой животины.

Учитель Зимин до того почему-то растерялся, что кивнул и вежливо сказал:

— Здравствуйте!

Животное приоткрыло глаз, окруженный короткими ресницами, глаз, полный жестокой пустоты, и слабо хрюкнуло, содрогая над телом грязь. Хвост на другом конце неоглядной туши помакнулся в лужу и снова поднялся торчком в знак того, что свинья не прочь и пообщаться.

— И в кого ты такая вымахала? — спросил учитель Зимин.

Рядом навалился на плетень Евлампий. Дышал он запалисто, между пальцев у него тлела папироса. Павел Иванович не слышал, как он появился рядом.

— Это боров Рудольф, — пояснил Евлампий с гордостью, — самый здоровый на селе. Да и в районе самый здоровый.

— Чей такой?

— Нашего ветфельдшера. Курский его фамилия.

— Борова?

— Зачем же. Боров пока бесфамильный. Рудольф зовут. Центнера на два с половиной потянет, сволочь. Курский кормит его как-то особо и рацион в секрете держит. Когда, говорит, все по науке проверю, способ свой в районной газете опубликую, а пока, говорит, не

лезьте и не спрашивайте: я для народа работаю. Он такой.

— Кто?

— Курский, кто! Трезвый человек. Самостоятельный. Айда, однако, в затишок, я тут звереныша прикупил. Сшиб два рубля и прикупил

— Что за звереныш?

— Четвертинка. Много нам не надо, четвертинка, она в самый раз. Поправлюсь и больше с месяц в рот ее, проклятую, не возьму.

— Я пить не буду.

— Пивка-то?

— Пивка еще можно.

— Давай за компанию.

Евламий расправил на скамейке мятую газету, выложил на нее пару соленых огурцов магазинного вида, изжуванных, кусочек сала, обметанный солью, пучок лука, вырванный из грядки по пути, три ломтя черного хлеба и повел рукой, пятясь: чем богаты, дескать, тем и рады. Стакан Евламий отер полой рубахи, налил себе, выпил махом и начал закусывать. Из огурца капала на колени ему смутная жижица.

— Пошла, язви ее в душу! Как Христос босиком по душе пробежался. Или в лапоточках пробежался: тук-тук. Ты интересуешься, Паша, насчет того, как лес трелеют? Все, Паша, исключительно на автоматике — кнопку нажал, Паша, и спина мокрая. Я счас тебе все изображу в картинке, наглядно. Завтрева у нас что? Воскресенье. Хорошо. Завтрева и поедем лес валить да трелевать, если успеем. Сразу-то все не успеем. Свалить бы хоть сперва. Сруб какие размеры, Паша, у тебя будет иметь, запомятовал я, прости, друг сердечный?

— Девять на два с половиной.

— Агромадный сруб, такую баню не натопишь.— Евламий выбросил мокрый огузок огурца за плетень, где лежал боров Рудольф, и, нахмурившись, с мрачно-

ватым выражением уставился в пустоту — он что-то подсчитывал.— Да, как раз тракторная тележка наберется.

— Чего наберется?

— Лесу.

— А где трактор брать?

— Возьмем. Передо мной тут всякий шапки ломает — одному погреб выкопать, другому колонку на огороде забить, третьему вот так же, как тебе, сруб поставить. Я всяко могу работать — все я ремесла превзошел. Роман мне говорит: помоги товарищу, товарищ, мол, нужный. Это про тебя. Я без Романа помогу, без корысти помогу. Роман, он парень заводной, много для школы сделал, так временный опять, он городскую квартиру не сдал. И клад ищет, не найдет — смоемся. Ты присядь, в ногах правды-то нет. Ты вот интересуешься, как лес трелюют, сейчас я тебе все в картинках покажу.

— Да не стоит, ради бога, в картинках!

Увещевать Евлампия было уже бесполезно, он загорелся идеей — показать операцию в наглядности:

— Я же, Паша, с детьми работаю, я знаю, как показывать. Я, Паша, институтов не кончал, до всего сам доходил, без подсказки. Ты сядь вот сюда и смотри. Второй раз показывать меня силком не заставишь. Не люблю, когда плохо слушают.

— Это понятно. Я весь внимание, Евлампий. А как тебя по отчеству?

— Евлампий и Евлампий. Меня до старости, если доживу, так звать и будут. Сидорович я по отчеству. Ты погоди, я мигом из конюшни телегу выкачу.

— Зачем телегу-то?

— Для наглядности.

Павел Иванович обреченно сел на скамью, отодвинул газету с небогатой закуской и приготовился наблюдать действие, которое обещал развернуть перед ним в живых картинах мастеровой человек Евлампий Сидорович Синельников, натура, надо понимать, артистичная.

Сзади поднялся боров Рудольф. Павел Иванович поворотился лицом к огороду. Рудольф постоял посередине лужи, угнетенный сном, и стал трясти головой, уши его хлопали, будто паруса под ветром, щеку Павла Ивановича окропило чем-то мокрым, он тревожно оглядел себя и сразу заметил на белой рубашке след, состоящий из черных точек. Полоса из черных точек переходила стезжкой на джинсы и кончалась на правой туфле. Павел Иванович вытер лицо платком, грязь на рубашке и туфлях трогать не решался: надо было дожидаться, когда она высохнет. Рудольф, отряхнувшись, подался вдоль плетня, повернул направо, открыл рылом ворота конного двора, побряхтел, шевеля пяточком в раздумье, и сел на возвышение греться. Сел он совсем как человек и напоминал собой теперь капиталиста, каких рисуют в «Крокодиле» и других юмористических изданиях. Воротила, черносотенец, сосисочный король, угрюмая образина. Павел Иванович засмеялся. Рудольф же зевнул, оскалась, и лег, ушами он удобно закрылся от солнца.

Евламий некоторое время ворочался, стучал чем-то в темном нутре конюшни и с гиком вытянул за оглобли обшарпанную телегу.

— Мери пришла! — объявил Евламий с ликованием.

— Кто такая?

— Кобыла Мери.

— Которая жеребая?

— Ничего она не жеребая, она ушлая, работать она жеребая, по селу блукать, так она пустая. Счас мы ее запряжем и поедем лес смотреть.

— Разрешение бы спросить?

— Сами себе хозяева. Ты посиди, я секундой управлюсь.

Евламий вынес из конюшни хомут и поставил его на возвышение рядом с Рудольфом, следом вынес, пугаясь ногами, прочую сбрую, кинул ее рядом с хомутом и исчез опять. Павел Иванович и хотел бы поехать

смотреть лес для бани, но в то же самое время ему не нравилась лихорадочная деятельность Евлампия Сидоровича Синельникова, способная привести к самым неожиданным последствиям. Теперь бы тихонько скрыться с этого двора, но ни в коем случае нельзя было обидеть такого нужного человека: без Евлампия, уверился Павел Иванович, никакой бани не срубить.

Боров Рудольф вздыбился без видимой причины, сел на задницу, раскачиваясь, будто мясник на молебне, рухнул, не справившись со своим телом, и земля под ним содрогнулась.

Евлампий выскочил из конюшни в растерзанном виде, он матерился сквозь зубы и тыльной стороной ладони утирал со лба обильный пот.

— Не в настроении сегодня, стерва!

— Кто?

— Мери. Не идет запрягаться и — точка. С ней такое бывает. Тут у нас конюхом дед Борщов, так его она только и слушает. Ребятишки когда присовестят — снизойдет. Романа не любит, директора. Он к ней и подступить боится.

— Так отложим поездку, Евлампий Сидорович. Завтра съездим.

— Зачем на завтра откладывать? Завтра у меня, может, минуты пустой не выпадет. Сегодня надо.— Евлампий присел на скамейку, хрипло откашлялся и скосился на недопитую четвертинку.— Счас еще подзаправлюсь малость и попробую обратять ее, поганку.— Евлампий налил в стакан самую малость, лихо запрокинул голову, крякнул и пощухал хлебную корочку, снова заметно повеселев.

— Она песни любит.

— Кто?

— Мери. Дед Борщов ей поет, особо она любит вот эту.— Евлампий сожмурился.— Вот такую.— Он пропел безысходным голосом, клоня длинную свою голову к

плечу: «...звонки звонят насчет поверки, Ланцов задумал убежать...» Ты посиди еще, я мигом.

— Да уж пора, наверно, и до дому.

— Сиди!

Евламий вернулся минут через пять. Вернулся с заморским аккордеоном, устроился возле двери конюшни на чурочке и растянул меха. Улыбался он при этом загадочно и томно.

— Сама, курва, в оглобли пойдет.

Павла Ивановича одолевали мрачные предчувствия. Они, мрачные предчувствия то есть, никогда Павла Ивановича не обманывали. Не обманули они его и на этот раз.

Глава пятая

1

— Топор взял?

— Взял.

— Пилу?

— И пилу взял.

— Тогда поехали. Но, несообразная, трогай!

Учитель Зимин сел на телегу позади Евлампия, и они двинулись.

Павел Иванович половчее уложил рюкзак с едой, накрыл его мешком, лежавшим на телеге, и закурил, настраиваясь на долгую езду. Телега прыгала по гальке, насыпанной местами, в основном же она мягко катилась по траве и глинистой дороге. По траве ехать было приятно.

— Я припозднился,— сказал Евламий, не оборачиваясь.— За дедом Борщовым бегал. Она снова не давалась, стерва!

— Здоровье-то как? — деликатно осведомился Павел Иванович и покашлял в кулак.

— Плечо, левос, саднит, спасу нет. Сегодня почти что и не спал. Бок опять. Правый. Однако ничего, переможемся.

Нынче утром Павел Иванович не верил, что Евлампий придет, как сулился, потому что досталось ему вчера крепко.

...Евлампий сыграл на аккордеоне вальс «Дунайские волны», перемежая мелодию ужасным хрипом (инструмент по-прежнему куражился), и нырнул в конюшню. Нырнул туда, согнувшись, будто упал в окоп, где ему предстояла рукопашная схватка. Тут же Павлу Ивановичу причудилось, что солнце на короткий миг загородила тучка. Павел Иванович глянул из-под ладони на солнце и зажмурился, он не успел открыть глаза, как услышал душераздирающий визг борова Рудольфа. Когда в глазах улеглось мельтешение, Павел Иванович уловил следующее: Рудольф, подобно огромному черному мешку, сокращаясь и вытягиваясь, непостижимо быстро перемещался в сторону прясла, на морде борова болтался хомут, который Евлампий перед тем выставил на видное место. Следом раздался глухой хруст, прясло повалилось, потом где-то неподалеку покати-лась железная бочка, загоношились куры, закричали женщины. Внизу голосил народ. Шум удалялся и притухал.

«Где же Евлампий?» — хватился учитель Зимин.

А Евлампий сидел ровнехонько на том месте, где мгновение назад спал боров Рудольф. Сидел Евлампий, закрыв лицо ладонями, и качался. Рубаха на нем была порвана, на одной ноге отсутствовал ботинок.

— Господи! — крикнул Павел Иванович и бросился поднимать пострадавшего, однако Евлампий поднялся сам и вихлястой походкой направился первым делом к скамейке, где стояла недопитая четвертинка. Учитель, сочувственно вздыхая, нес следом ботинок, оброненный во время длинного полета от конюшни.

Евлампий аккуратно допил водку и засуетился:

— Надо смываться отседова, Паша. Счас Курский прибежит, и всякое такое.

— Что же случилось, Евлампий Сидорович? Я, видишь ли, несколько отвлекся...

— Эта, значить, стерва,— Евлампий осторожно показал на конюшню,— пихнула меня, я и полетел. Да. Полетел и упал на Рудольфа аккурат. Удачно, понимаешь, приземлился, он ведь мягкий. Да. Но он счас бед натворит. Курский объясняет, что у животных нервы много слабее наших. У него, понимаешь, хомут на башке, он счас дикий зверь лесной. Сматываем удочки. Завтрева я за тобой заеду — лес валить будем.

— Роман Романович не появлялся? — после некоторого молчания опять спросил Павел Иванович.

— Не видал. Он с вечерней электричкой обычно приезжает. По-моему, в отпуск наладился: в Томск все рвется, насчет клада хлопочет, а сельский Совет не пускает — сперва, мол, ремонт школы закончи, потом и отдыхай, ты директор, на тебе и груз лежит.

— Оно так.

Телега скатилась в низину, где тек широкий и мелкий ручей, густо поросший тальником. Здесь еще остались запахи раннего утра. Пахло травой, мокрым песком и охолодевшим за ночь камнем. В низине стояла такая тишина, что слышно было, как ударяется о гальку вода.

— Это и есть та самая Мери?

— Она, поганка. Она.

— Спокойно запряг-то?

— Я и не пытался, говорю тебе, за стариком Борщовым бегал. Он и уговорил ее, но и упредил меня: не в настроении она, Евлаша, может и фортеля выкинуть.

На Павла Ивановича уже привычно набежали мрачные предчувствия, но он отогнал их, да и день выдался

спова хоть куда, на небе не маячило ни одного, даже самого заштатного облачка, и зной еще не пришел, дышалось привольно.

«Все будет хорошо,— подумал Павел Иванович.— Все будет ладно».

Мери была невзрачной в общем-то лошаденкой средних размеров с покатою спиной цвета сильно обожженного кирпича. У нее были черные уши, стоявшие торчком и врозь, выпуклые глаза, в глубине которых моментами проблескивал загадочный огонь.

— Нн-ноо, непутевая! — Евлампий гикнул, покрутил вожжами, но Мери не прибавила шагу на крутизне, она лишь подогнулась вся и напрягла потемневшую под шлеей холку. Когда миновали овраг, взору открылась огромная поляна, ровная и покрытая невысокой травой. Впереди угадывалась река, и по ее берегу редко росли вековые деревья. Избы здесь стояли хуторами, и улица рассеялась по полю, раскатилась в разные стороны, потеряв осмысленную стройность.

У Павла Ивановича на языке давно висели слова, но сказать их он не смел, наконец, он выдал свой вопрос в самой безобидной форме:

— А общая обстановка какая?

Евлампий ждал этого вопроса, он встрепенулся и впервые повернул к учителю лицо:

— Он, Рудольф-то, что? Перво-наперво он газетный киоск свалил возле сельсовета. Хорошо, продавщица Таська куда-то отлучилась. Ее, правда, никогда на месте нет, но тут отлучилась, а так ведь и покалечить мог. Стекла — в песок, двери с петлями вырваны. Страх божий.

— И это все?

— Носится Рудольф-то. Вишь какое, значить, положение. Хомут он до глаз напялил, ничего не видит и в ярость по той причине ударился. А нервы у него заметно слабей наших...

Павел Иванович сознавал свою хоть и косвенную, но все-таки причастность к беде, постигшей село. Мало ли что еще наделает загнанный страхом боров-рекордист! Два центнера живой материи и ни капли здравого смысла в просторном черепе. Это сравнимо с пьяным шофером за рулем грузовика.

— И больше ничего такого, Евлампий Сидорович?

— Ничего такого. Курский Иван Данилович подошел давеча, когда Мери запрягали. Ты, мол, Евлампий, не в курсе, почто мой Рудольф с хомутом бегаёт? А я, говорю, причём здесь? Завтра, может, твой боров шляпу велюровую, например, напялит или шаль цыганскую? Я в его нутро не влезал, твой воспитанник, ты за негс и ответ держи. Отбрехался, конечно, но Иван докопается, мужик он аналитичный.

Телега вдруг резко остановилась, Павла Ивановича понесло вперед, он ударился о худую спину Евлампия, спина была твердая, как дерево.

— Не было печали! — тихо сказал Евлампий.

— Что такое?

Сбочь дороги стоял, переминаясь, прораб Вася Гулькин и манил их рукой. Евлампий не трогал кобылу с места, тогда прораб, размахивая черной хозяйственной сумкой, направился к ним. Он, это бросалось в глаза, был румян больше обычного и возбужден.

— Куда, ребята?

— Лес валить, — неласково ответил Евлампий.

— На Чистую Гриву небось?

— Это уж наше дело. А ты чего здесь шастаешь?

— От Прасковьи скрываюсь. У нас семейный конфликт.

Евлампия будто ошпарило, он враз соскочил с телеги, поддерживая штаны.

— И далеко она?

— Далеко. Я бегать умею. Меня возьмете?

— Зачем ты нам?

— А для компании.

— Мы не пьем.

— Так и я не пью. Поехали! — Прораб Гулькин сел рядом с Павлом Ивановичем, еще раз поздоровался и взял вожжи. — А ну пошла, родимая! Мы шустро покажем.

Евламий догнал телегу и вырвал у прораба вожжи, сказав сердито, сквозь одышный кашель:

— Сел, так сиди, не то враз на дороге окажешься.

— Ты понужай, пусть она бежит, — Василий ничуть не смутился холодным приемом и подмигнул Павлу Ивановичу: — Я помогу вам. Делать мне все одно нечего сегодня.

2

У Павла Ивановича появился новый знакомый.

Звали его Григорием, фамилия его была Сотников.

Григорий Сотников подошел неслышно, со спины, когда Павел Иванович, согласно книжке «Плотницкое дело», колышками и шнурами размечал в огороде фундамент бани.

— Значит, строить задумали? — отрекомендовавшись честь по чести, поинтересовался Сотников. — А черта у вас есть? Без черты никак невозможно.

Павел Иванович уже усвоил, что черта — это нечто вроде пароля, и все, кому не лень, перво-наперво спрашивают именно про черту. Павел Иванович носил теперь этот немудрый инструмент в кармане на всякий случай и до сих пор не имел представления, как им пользоваться. Он вынул согретую телом железку из кармана брюк и протянул ее Сотникову. Тот соответственно покатал загадочный инструмент в руках и вернул его с определенной долей почтительности.

— В сельсоветской кузне ковали, — определил Григорий Сотников, — они так коуют. Но у меня черта лучше, если хотите, могу одолжить.

— Спасибо.

Павел Иванович не уловил в голосе нового своего знакомого ни порицания, ни одобрения: куют и пусть себе куют дальше в том же духе.

Сотников жил наискосок от Павла Ивановича в поместительном доме, обшитом паркетной плиткой в елочку. Дом янтарно светился на солнце — пятистенок под шиферной крышей и с фасонной железной трубой. Усадьба была зажиточная. Да и Сотников выглядел хозяином хоть куда — это был осанистый блондин со свежим круглым лицом и голубыми навывкат глазами. У Сотникова под клетчатой безрукавкой обозначалось брюшко, светлые брюки украшал ремень ремесленной работы с пряжкой в виде орла с распростертыми крыльями, меж которых вставлялся кинжал красной меди с цепочкой под золото. Говорил Сотников вроде бы через силу, глаза его туманила поволока, и создавалось такое впечатление, будто этот мужчина буквально минуту назад пообедался до отвала.

Павел Иванович предложил соседу занять табуретку. Сотников сперва установил табуретку прочно на земле и сел, оправив на коленях глаженные брюки.

— Я на бюллетене, — объяснил Сотников. — Работаю на фабрике игрушек завхозом.

— Как вас по батюшке, извините?

— Можно и без батюшки. В одних годах, поди.

— Примерно.

— Вы работайте, я покурю пока что, то да се...

Павел Иванович работать не стал — он стеснялся своего неумения, и потому сел рядом с Григорием на бревешко, закурил тоже.

— Я это... — начал Сотников. — Я недавно в Одессе был. Интересовался...

Последовала пауза. Павел Иванович успел заметить, что на крыльцо избы вышла жена Соня и устроилась чистить картошку. Жена Соня — неплохая в общем-то

женщина, она лишь с молчаливым и упорным пренебрежением относилась ко всем начинаниям Павла Ивановича, она считала мужа в делах житейских запрограммированным кулемой. Это молчаливое пренебрежение раздражало Павла Ивановича, но у него, к сожалению, не было возможности до сих пор поправить свою репутацию.

— Я это...—сказал Сотников с великой натугой.— Я недавно у моря был, на юге.

Жена Соня выронила картофелину, та по ступенькам спрыгнула наземь и укатилась к самой летней кухне.

«Поднимись. Придется тебе шевелиться»,—подумал Павел Иванович. И хотел пошутить, хотел крикнуть Соне, чтобы она рысью бежала за картофелиной, но при постороннем шутить не стал.

Сотников тем временем перевел дух и сделал третий зачин:

— Я в командировке был. Интересовался. Там так: в определенном месте (только место знать надо) подходит к тебе гражданин, прилично одетый (там все прилично одетые), и на ухо: —Что вам нужно? Отвечайшь — то, то и то. Ага. Допустим, бруса пять кубометров, плахи, соответственно, семь с половиной кубометров и так далее. «Когда прикажете?» — «Завтра». — «Ваш адрес?» Но дерут, спасу нет. А — приятно.

— Тоже мало приятного, но хоть бы так,—сказал в сердцах Павел Иванович и бросил окурки в огород, косясь на жену Соню: заметит или не заметит? Соня сердится, когда Павел Иванович бросает окурки в цветы или капусту. Жена, слава богу, ничего не заметила — она искала в траве оброненную картошку.

Павел Иванович увидел, что калитку с улицы, нашарив крючок, открыл дед Паклин. Дед нес далеко впереди себя алюминиевую чашечку. Он уже не в первый раз появляется с этой чашечкой, в ней — карасики или окуньки, выловленные в старице каким-то таинст-

венным способом. Карасики и окуньки по стандарту одного размера, с мизинец, но пузатые, и лежали они ровно, будто серебряные монеты несколько необычайной формы. Рыбу вроде кто штамповал для деда Паклина по давней договоренности. За улов дед брал рубль, предупредив наперед, чтобы про сделку не знала его старуха, видимо, жадная до денег. Паклин пошептался с Соней возле крылечка и, постукивая пустой чашечкой по штанине, направился в дальний угол огорода, где Павел Иванович с Григорием Сотниковым вели сугубо мужскую беседу.

— У нас про что речь, Нил Васильевич,— начал Григорий Сотников размеренно,— я вот это... Я недавно, мол, у моря был. Интересовался. Там так, Нил Васильевич. Приходишь ты в определенное место, тебя встречают: «Зачем пожаловали, мил человек?» Ты им опять свое: мне то, то и то. Допустим, бруса пять кубометров, плахи, соответственно, семь с половиной кубометров, шиферу сорок три листа. Вот. Они тебе: «Будет сделано». И все.

Нил Васильевич примостился на бревешко, покряхтел, вытянул, изловчась, из кармана пачку «Севера» и закурил. Речь Григория Сотникова он оставил без внимания, похлопал Павла Ивановича черной рукой по плечу:

- Фундамент копать собрался?
- Да, Нил Васильевич.
- Цемент есть, кирпич есть?
- Нет ни цемента еще, ни кирпича.
- Где доставать надумал?
- В городе, на базе.

— Яму рыть брось: водой все позальет, чем воду откачаешь? Нечем, так? Сруб на улице руби, после перенесешь.

Григорий Сотников, похоже придремнув, пока дед распоряжался, снова затянул свою канитель:

— У нас про что речь, Нил Васильевич. Я, вот, недавно у моря был...

— Ты за моря да океяны пальцем не показывай, ты здесь достань. Достанешь?

— Я-то достану, а вот он,— Сотников кивнул на Павла Ивановича,— он не достанет.

— Ты, Гриша, запрошлую осень из каких шишей баню-то робил? Уворовал лес с берега. Так?

— Почему уворовал? Выписывал!

— Ты свои сказки кому-нибудь обскажи, ребятишкам своим, они по глупости и поверят, а мне врать не надо. Ты уворовал, а ему, образованному человеку, не с руки государственное добро задарма брать лишь потому, что плохо лежит. Совсем другие, Гриша, пироги получаются. Ты не серчай, я тоже лес с берега брал. Все берут. А он брать не хочет. Ну и намыкается.

— Это да — намыкается.

— Каждому, Гриша, свое.

— Ну ладно,— вздохнул Григорий.— Двигать мне пора, поеду веники ломать, не то поздно будет. Сейчас самый веник.

— Я уже наломал! — с гордостью и достоинством сказал Павел Иванович.— Штук сорок.

— Зиму себе, выходит, обеспечил, только бани не хватает. Я тоже пошел, дела все, дела. В могиле разве что и отдохнешь, правильно говорят в народе-то.— Дед Паклин поднялся, хрустя суставами, и опять похлопал Павла Ивановича по плечу: — Ты не робей, сосед, выпишутся у тебя козыри, жди своего часа.

— Спасибо.

— На здоровьичко.

— Не боги горшки обжигают, Нил Васильевич.

— Оно и правильно, не боги. Лес-то повалил?

— Повалил.

— Иде?

— На Чистой Гриве, Нил Васильевич.

— Далеконько, однакова. Ить и лес там никудышный, кривая там осина.

— Да на глаз-то вроде ничего...

— Оно и на глаз так: рубишь, вроде бы и ничего, привез домой — кривая. Теперя, значит, трелевать. А вывозить трактором будешь?

— Где его взять, трактор-то?

— Где и можно взять: хорошо попросишь, да хорошо заплотишь, да водки поставишь ладно. Тебе сруб этот в копейку обкатится. Ты бы браги наварил или самогону бы нагнал, дешевле будет.

— Нельзя, Нил Васильевич, запрещено самогон-то гнать.

— Оно и запрещено, да гонит кое-кто. Плати за водку, мне-то что, я человек сторонний, не из моего кармана рубли-то тянут. Да. Но пойду.— Дед подобрал с земли алюминиевую чашечку, похлопал ею по штанине. В этот момент Павла Ивановича, можно сказать, черт дернул задать вопрос насчет того, каким способом в данной ситуации стрелевать лес и, главное, где достать лошадь. Нил Васильевич встрепенулся, в размытых его глазах мелькнул огонек.

Глава шестая

I

Для зачина дед произнес свое длинное «и-и-ин». Павел Иванович понял, что дед волнуется, в голове его включилась та самая шестеренка, у которой не хватает зубьев, и мыслительный процесс пошел вразброс.

Паклин сел на табуретку, занимаемую давеча Григорием Сотниковым, и нервно огладил острые свои колени руками. Павел Иванович уяснил с пробелами следующее: когда молодой и бравый Нилка Паклин работал уполномоченным в кредитном товариществе, у него

был конь, так всем коням конь—серый рысак в яблоках, конфискованный революционным порядком с усадьбы купца Ферापонта Семибратова. Помянутый жеребец высекал копытами пламень из камня, а обогнать, например, автомобиль жеребцу по кличке Генерал и вовсе ничего не стоило. Устраивали такие соревнования, и верх обязательно брал Генерал. Песня даже была... Дед выпрямил спину, облизал губы и спел. Голос его дребезжал и обрывался:

...Ежлив «эмка» «форда» перегонит,
Значить, буду я, Вася, твоя...

Песня была вроде и некстати, потому что про жеребца Генерала в ней не поминалось вовсе, Паклин вспомнил ее, наверно, применительно к другой житейской ситуации, но коли уж вспомнил, то и спел. Следом речь стала наматываться возле другой мысли: нынче у нас июль, а в июле самый покос, и лошади, даже захудалой, Павел Иванович не увидит как собственных ушей. Кроме того, нынешние хозяева развратили лошадей невозвратно.

Закрутилась шестеренка с полным набором зубьев, и Нил Васильевич начал объясняться вполне логично: — Возьмем школу,— дед Паклин загнул на левой руке мизинец,— тама две лошади—Мери и Лешак. Мери, считай, совсем негодная. Избалованная кобыла. Она—вроде небитой бабы. Лешак, тот бы и ничего, но старый и больной. Этот всю жизнь работал. Изработался. Возьмем сельпо.— И снова в ход пошли пальцы.— Тама четыре коня и как один бросовые. Тьфу, а не кони,— Нил Васильевич сердито сплюнул под ноги себе,— уросливые, ленивые. Эти похожи на твоего друга Евлампия, только что водку не жрут.

— Евлампий будто и ничего человек. Хороший.

— Хороший, когда спит. Возьмем милицию. Тама тоже есть жеребец. Испортили они его, запалили, три

версты пробежит и в пене весь, дышит, как печка. На масленку и запрягают, раз в году — для красоты.— Дед некоторое время думал сидя, потом встал и опять поднял с земли алюминиевую чашку.— Ты вот что.. Ты к директору фабрики сходи. Мужик хозяйственный, удачливый человек и грамоты большой. У него и лошади нормальные. Даст, поди, хотя у него и своих просителей много.

— Кто я ему? Никто!

— И верно — никто. Но от поклона-то шею не поломаешь. Одна у тебя надежда. Ну, покедова.

— До свиданья, Нил Васильевич. И спасибо.

— Не за что.

2

Евламий сидел на скамейке возле школы и следил за тем, как ребяташки заливают раствором тротуарчик.

— Доски криво поставлены,—сказал Павел Иванович, усаживаясь рядом с Евлампием на теплую лавку.

Школьники устанавливали доски ребром, прислоняя их к колышкам, между досками заливали раствор, который подтаскивали носилками.

— Криво,—согласился Евламий, но не поднялся со скамьи, чтобы поправить детей,—не моя забота, сами пусть разбираются.

Павлу Ивановичу такая позиция казалась странной, но он смолчал.

— Роман Романович у себя?

— В Томск умотал твой Роман. Председателю сельского Совета печать на стол бросил и уехал: мне, говорит, некогда, у меня, говорит, томский архив в плане. Все дела бросил на середине и умотал твой Роман Романович.

— Почему мой? Ваш он.

— Нет, твой. Городской он, в поле ветер. Увольнять его собираются. Приедет и — уволят.

— Жалко.

— По мне так и не жалко, потому как ответственность надо иметь, не мальчик уж. Дай ему клад, выложи на тарелочке, и все тут. Правда, и жена у него дура. Молодая и дура. Она его и мутит, ей в деревне скучно, видишь ли, а сама картошку пожарить не может, руки у нее — крюки, голова — тыква пустая! — Евлампий тихонько заматерился и бросил далеко от себя докуренную до «фабрики» папиросу.

— Рудольф как, вернулся?

Евлампий заерзал на лавке, ошарил глазами окрестность, потом наклонился интимно к Павлу Ивановичу и дыкнул табаком:

— Беда!

— Что такое?

— Тише! Милиция застрелить его хочет.

— Кого?

— Рудольфа, кого! Привезем, гыт, из района винтовку с оптическим прицелом и застрелим.

— Зачем так жестоко?

— Покою нет. Село будоражит. Жалобы есть. Много жалоб. Ты яр за церковью видел?

— Нет.

— Ты глянь когда-нибудь в свободное время: полезно.

— А что там такое?

Евлампий не ответил, он держал рот открытым и напряженно смотрел вдаль, одновременно нашаривал по карманам папиросы. Руки Евлампия жили и действовали как бы отделяясь на некоторое время от туловища. Папироса была, наконец, найдена и водворена по назначению, но рот оказался много шире папиросы, и Евлампий, поперхнувшись, закашлялся, однако взгляд не отрывал от интересующего его предмета. Павла Ива-

новича охватило легкое беспокойство — он тоже увидел Прасковью: она двигалась, вся в черном, от магазина наискосок. Может, путь она держала к школе, может, и нет. Евлампий привстал, сказав невнятно:

— Я тут несколько отлучусь. Ты погодь.

Прасковья свернула к школе, шла она размашисто, наклонив вперед голову.

Евлампий дряблой рысцей поспешил к парадным дверям школы. Павел Иванович догадался, почему он не хочет встречаться с этой женщиной: во-первых, все сельские мужики, склонные к пьянству, чувствуют перед Прасковьей вину, во-вторых, у Евлампия были теперь и конкретные основания избегать ее. Вина Евлампия состояла вот в чем. Когда четыре дня назад они с Павлом Ивановичем ездил на кобыле Мери валить лес, к ним, как вы помните, неожиданно прицепился прораб Вася Гулькин. По первости Вася Гулькин, сидя на телеге, разводил всякую несуразицу и предрекал неудачу затейной экспедиции: лес, дескать, на Чистой Гриве никуда не годный, кобыла Мери по натуре своей проститутка, работать откажется и вообще часа через два грянет ливень невиданной силы.

Не все предсказания Васи сбылись: лес-то они повалили, но стреловать его не смогли — кобыла Мери забастовала, она будто окаменела. Стала в самой неудобной позе, присев чуть, и застыла, лишь в глазах ее выпуклых и широко открытых метался пожар. Евлампий, засопев, выбрал осиновую жердь потолще и обратился к Мери с увещательными словами:

— Тута детей нету,— сказал кобыле Евлампий,— это при детях бить тебя непедагогично. В детях, видишь ли, могут возникнуть низменные инстинты при виде, значить, битья. Но мы взрослые и насчет инстинтов вполне крепкие.

— Ты ей по черепу закатай,— присоветовал из теничка прораб Гулькин,— может, и сдохнет, она ведь ни-

кому не нужна, она тунеядка. Вдарь! Объяснишь следователю, что пьяный шофер на нее наехал. Вдарь! — Прораб лес валить не помогал — он дремал в кустах, прикрывшись пиджаком, потому что был на рыбалке с компанией, ничего не поймали, вдобавок утопили невод. Сплошное расстройство в общем получилось.

— Заткнись! — ответил Евлампий прорабу сквозь сжатые зубы. — Без тебя разберемся. Последний раз предупреждаю! — обратился к кобыле разгневанный Евлампий. — Я ить сперва по-хорошему, но я нервный и в гневе беспамятный.

— Черт с ней, Евлампий, оставь ты ее в покое! — вмешался Павел Иванович. — На другой лошади трелевать будем.

— У нас в селе все лошади бросовые, — сказал из теньки прораб Гулькин. — Вдарь ты ее как следует!

Кобыла Мери прятала уши и не двигалась с места.

Евлампий, запалисто дохнув, ударил тяжело и с отяжкой. Ударил раз, другой, третий. На крупе лошади появились белые полосы, но она по-прежнему не двигалась, словно вбитая в землю. Евлампий, утомившись, сел на пенек, утер пот со лба рукавом рубахи и начал материться, всхлипывая, казалось, готовый заплакать.

Делать было нечего. Зашабашили.

На обратной дороге Вася с Евлампием заспорили, чьи часы лучше. У Евлампия была старенькая «Победа» с пощербленным циферблатом.

— Ни на какие не променяю! Идут до секунды в точности. И двадцать лет уже так — до секунды в точности. Раньше на совесть делали.

— Твоей «Победой» только гвозди заколачивать, — сказал Вася Гулькин, — ты на мои посмотри. Прасковья брала. Экспорт наш. Водонепроницаемые и не бьются. А идут нормально — то уж само собой.

— Говоришь, не бьются?

— Не бьются. Смотри! — Гулькин снял с запястья

ремешок и бросил часы на камень, они, сверкнув на солнце стеклом, отскочили от камня и упали в траву.— Найди и проверь.

Евламий слез с телеги и, повалившись на карачки, пошарил по траве. Возвращался он с часами — держал их возле уха и шел медленно, запинаясь, — ждал, когда часы остановятся.

— Тикают, ты заметь! А ну еще?

Гулькин царским жестом кинул часы на тот же камень, и опять они тикали. Этот факт буквально ошеломил Евлампия.

— Ты с ними что хошь делай, — заявил Гулькин, — топчи, молотком бей. Они еще и антимагнитные. А ты своей «Победой» расхвастался.

— Да-аа... — Евламий искренне закручинился, что ему отродясь не видать таких часов: у него нет Прасковьи и на плечах — большая семья. — А если их обухом стукнуть? Слегка если?

— Ничего им не сделается, — легкомысленно заверил Вася Гулькин. — Абсолютно ничего.

— А если ударю?

— Бей!

— Почем спорим?

— На литруху. Только чтоб сегодня поставил.

— И поставлю!

— Бей!

Евламий остановил лошадь, замотал вожжи вокруг оглобли и взялся за топор.

Павлу Ивановичу стало жалко добрую вещь, и он попытался урезонить расходившихся мужиков, но те отмахнулись от него, словно от назойливой мухи.

— И бей!

— И стукну!

Евламий положил часы на свежий пенек у дороги и поднял топор, косясь на Васю Гулькина, тот же сидел на телеге и побалтывал ногами.

Евламий не успел ударить — кобыла Мери вдруг рванула с места так сильно, что Вася Гулькин, будто полный мешок, ухнул головой в пыль и распластал руки. Евламий сунул часы в карман и кинулся поднимать обмягшего прораба, который мычал и слепо крутил головой.

— Доигрались! — растерянно сказал Павел Иванович и почувствовал, что его трясет.

Телега, пыля, удалялась в сторону села с завидной скоростью и догнать ее не было уже никакой возможности. На дороге, видел Павел Иванович, упал его рюкзак, потом хозяйственная сумка прораба Гулькина, сыпалось сено, которое они надергали из стога для мягкости, Евламий потащил Васю к ручью:

— Пусть сопатку помоем.

Домой возвращались лешком. Гулькин подобрал свою сумку с рыбацкой всячиной, к нему вернулось присутствие духа, и он даже запел.

Все это Павел Иванович вспомнил сейчас, дожидаясь Евлампия, который спрятался в школе от Прасковьи. Евламий вышел минут через десять и униженной трусцой побежал к тому месту, где старшеклассники заливали тротуарчик бетоном, следом показалась Прасковья, погрозила вслед Евлампию кулаком и свернула направо. Павел Иванович неизвестно почему испытал облегчение: присутствие монументальной женщины начинало его сильно тревожить. Евламий малость потолкался среди школьников, дожидаясь, когда Прасковья скроется, и вернулся на скамейку:

— И тут прискреблется!

— Кто?

— Известно кто — Прасковья. Дети, грит, партачат, а ты лясы точишь, рассиживаешь, грит.

— Она, наверно, права?

— Я-то причем, у их учитель труда есть. Завхоз есть. Пусть они и учат. Зачем ты, гряд, Евлампий, вмешиваешься в педагогический процесс? Я и не стал вмешиваться. Дак яр за церковью не видал?

— Нет.

— Яр, он метров пять высотой и козырьком над речкой нависает. Внизу — песочек. Отдыхающие за это место — в драку прямо.

— К чему ты это?

— А к тому, что Рудольф с того яра свалился. Ночью было дело. Внизу машина стояла, «Москвич». Так он его здорово подплющил.

— Кто?

— Рудольф. «Москвич» подплющил. Да и сам напугался.

— Кто?

— Рудольф. Палатку пропорол, женщину молодую напугал, рюкзак в костер затащил, язвы его! А этот мужик на грех в районной милиции работает.

— Какой мужик?

— Ты, Павел Иванович, беспонятный вовсе. Грамотный вроде, а беспонятный. Хозяин «Москвича» в милиции работает, майор по званию. Он в Рудольфа из пистолета стрелял. И промазал.

— Премазал?

— Вроде промазал. Но в общем Рудольф на ходу.

— И хомут на нем?

— И хомут на ём, известно. С хомутом так и носит-ся.— Евлампий скосил голову к плечу и, поерзав, вытащил из кармана часы Василия Гулькина, завернутые в белую тряпицу.— Все не могу отдать.

— Да, кстати, что с Гулькиным-то?

— А ничего. Бегает, хлопочет. Давеча видел его издали, позвал, он отмахнулся: после, мол, сбежимся, некогда, мол. Знатные часы. Если топором ударить, поломаются, как ты думаешь, Павел Иванович?

— Топором экскаватор поломать можно, часы — и
подавно.

— А Васька обратное говорит.

— Мало ли что он говорит! — Павлу Ивановичу начал надоедать бесплодный разговор, на его плечи по-прежнему давили заботы, связанные с баней: прошло уже две недели отпуска, а благой зачин остался без малого на мертвой точке. Даже и лес еще не вывезен. А ведь сруб ставить надобно, шифер доставать, плахи, цемент, гвоздей разных, пакли... Начать да кончить, словом, еще осталось.

— Лес-то когда трелевать и вывозить будем, Евлампий? Я заплачу, ты не беспокойся.

— Я и не беспокоюсь. Ты беспокойся. Перво-наперво лошадь надо достать. Мери, сам убедился, бесполезная кобыла. Я бы ее давно на мыло сдал. На туалетное она негодная, разве что на хозяйственное... Ты мне лошадь порядочную достань.

— Где же я ее достану?

— Где хошь. На фабрике попроси.

— А дадут?

— Счас сенокос, кто тебе, поди, даст.

— Так. Раньше ты другое утверждал, ты обещал сам все достать.

— Раньше я выпимши был. Пьяные все хвастают. Ты не хвастаешь пьяный?

— Нет, вроде, не водится за мной такого греха.

— Ты культурный, я — нет. С меня взятки гладки.

— Да! Ну, до свиданья, Евлампий.

— Всего тебе хорошего.

3

Последнее время стало модой любить животных. Мы теперь любим их сознательно, как необходимую часть природы, и по-прежнему потребляем в пищу мясо. Это

противоречие в обозримом будущем неразрешимо, поэтому Иван Данилович Курский, совхозный ветфельдшер, не видел в борове Рудольфе индивидуальности, Курский со спокойной совестью каждый день прикидывал, на сколько килограммов веса прибавила свинья. Рудольф же был по-своему талантлив — он родился с ощущением острейшего голода, первым из выводка добрался до материнского соска, и оторвать его от соска было делом непростым и нелегким. Ощущение острейшего голода не покидало Рудольфа ни на минуту. Когда его утроба была пустоватой, ему казалось, что он легкий, вроде бы надутый, и потому может вознестись. Возноситься же он не хотел, он боялся неба и яростно нагружался всем, что попадалось на глаза. Однажды он даже съел пропахшую солидолом фуфайку, он ел сапоги, калоши, плетеные коврики, пластмассовые игрушки, штaketник, землю, гальку... Еще однажды Рудольф попробовал сжевать лопату, но лопата ему не далась. Топор тоже не дался. Особо же нравилось Рудольфу туалетное мыло. Несколько раз по случаю ему доставалось по целому куску туалетного мыла, которое рассеянная хозяйка роняла у рамонойника во дворе. Откушав мыла, боров томно кряхтел, слегка опьянев, и пахло от него тогда парикмахерской.

Размеренная жизнь кончилась внезапно. Сперва был страшной силы удар, потом Рудольфа объяла тьма. Сердце огромной и в общем-то легко ранимой свиньи не лопнуло по чуду. Она мчалась и мчалась, стараясь миновать тьму, но потом она поняла, что тьма бежит вместе с ней, и остановилась. Когда Рудольф остановился, его начали бить, тогда он понял еще, что стал врагом человечества и никто уже не почешет у него за ухом до тех пор, пока он не избавится от ярма, надетого на рыло так внезапно и так непонятно. И это было первое открытие борова Рудольфа, его первой и вполне осознанной мыслью.

Утром Павел Иванович собрался в город с первой электричкой. Встал он рано, когда еще не было шести, умылся холодной водой, вскипятил на плитке чайку, съедал бутерброд и, вскинув тощий рюкзак на плечи, открыл свою калитку. Заметив, что на своем подворье возится дед Паклин (поверх прясла маячила дедова кепчонка с длинным козырьком), Павел Иванович направился к соседу пообщаться, рассчитывая, что Паклин спросит, как идут дела по линии бани. Когда дед заинтересуется, можно будет излить душу, пожаловаться на Евлампия, личность безответственную, посоветоваться, как жить дальше, как действовать дальше: Нил Васильевич местный, все здесь ему доступно и понятно.

Вчера вечером деду Паклину привезли тракторную тележку опилок, и с утра пораньше он разбрасывал их по огромному огороду.

— Поздно удобрять, сосед,— сказал Павел Иванович вместо приветствия и налег на плетень грудью. Тень от его головы и тела была тонка, бездонно черна и доставала до занавоженных сапог деда Паклина.— Я говорю, Нил Васильевич, что поздно, наверно, опилки-то разбрасывать?

— А я промеж грядок. Весной все вспашется да перекопается. Раньше не подвезли опилок-то. Просил весной, а привезли, видишь, летось.

— Чего так-то?

— По очереди возят.— Дед загородился ладошкой и посмотрел в сторону Павла Ивановича мельком, не прекращая работы.— Оно часть-то и на подстилку свиньям пойдет. Коровенке пойдет.

— В хозяйстве все оборотится, так?

— Оно и так.

Павел Иванович вознамерился было приступить к

своим бедам (время еще позволяло), но дед Паклин, воткнув лопату в землю, поплелся шаткой походкой в глубь двора и даже не счел нужным попрощаться. Павел Иванович отвалился от прясла, погруженный в невеселые мысли о том, что человек черствеет на глазах, что старики черствые, а молодежь — тем более.

...Павел Иванович вышагивал к паромной пристани и думал про черствость. Думал до тех пор, пока душевная тяжесть не скопилась над ним темным облаком. Павел Иванович остановился тогда на горке возле лесхоза и поглядел вниз. Над старицей внизу, над черной ее водой, кудрявился туман. У берегов старица была очерчена каймой, которая была еще темней воды. Там отражалась тень кустов и дальних деревьев. На подмостках в две доски, уходящих далеко в старицу, рядом сидели рыбаки. В дальней дали под скалами извивался длинный состав и чечеточно стучал на рельсах. Стук был бодрый и напористый. Издали блестели рельсы, а электровоз напоминал жука с оранжевыми подкрылками.

Павел Иванович понял, что жить по-прежнему хорошо, надо только уметь радоваться, надо только уметь вглядываться хоть изредка в окружающий тебя мир, в котором не счесть красок и движения. Ты будешь иметь душевное здоровье только при условии, что никогда не устанешь удивляться простым вещам.

Павел Иванович сложил трубочкой губы и засвистел песенку, услышанную еще в детстве.

Песенка имела такое вот несложное содержание:

Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, на базар.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар!

Мотив к той песенке приложился как-то сам собой, Павел Иванович давно забыл уже, откуда этот мотив, но с полным удовольствием насвистывал его в минуту очищения и душевного равновесия.

Павел Иванович спустился с горки и попал на большую дорогу (эта дорога обрывалась у паромной пристани) и приладил свой шаг к шагу гражданина баскетбольного роста с лошадиным сухим затылком. На плечах гражданина тоже болтался пустой рюкзак с распущенными завязками, штиблеты гражданина, видать, новые совсем, вкусно и громко скрипели.

2

Это был, собственно, не магазин, а база строительных и хозяйственных магазинов. Размещалась база на краю города, занимала она три барака, обнесенных тесовым забором. Позади барачков начиналась молодая березовая рощица, дальше была гора, и на ее макушке белели дома деревеньки. От горы на бараки падала тень. С левой стороны зеленых ворот с козырьком на деревянном щите вывешивались объявления о наличии и поступлении товаров самой широкой номенклатуры, от порошка против тараканов до котлов промышленного назначения. Котлы стояли под навесом, оранжевые и похожие на ракеты.

Павел Иванович собирался купить на базе немного кирпича, листов пятнадцать-двадцать шифера, мешка два пакли, немного бруса для косяков, плахи и ящик плотницких гвоздей. Ничего этого на базе не было, зато под стеклом витрины Павел Иванович острым глазом заметил бумажку с надписью «черта для плотницких работ».

— Покажите, пожалуйста, черту.

Черта лежала в футляре, на бархате, и напоминала чертежный циркуль, только потяще, грубей и с остро отточенными концами.

— Сколько?

— Три девяносто.

Павел Иванович с готовностью заплатил три девяносто и бережно спрятал футляр во внутренний карман

пиджака. Теперь у него была своя черта, и не примитивная, излаженная в сельсоветской кузне, а сработанная по науке и государственным предприятием. Этим можно было по праву гордиться. И Павел Иванович загордился, позабыв на минуту, зачем он сюда, на край света, собственно, и приперся.

— Да! Мне бы кирпича штук двести, шифера...

— Сегодня пусто у нас,— ответил продавец в сером халате нараспашку, волоокий мужчина нерусских кровей.— Вчера, например, почти все было. Что же вы опаздываете, дорогой товарищ?

— Я всегда приезжаю или на день раньше, или на день позже. Всю жизнь так у меня.— ответил Павел Иванович с печалью.

Продавец сочувственно поцокал языком и широко развел руки.

— Когда же еще будет?

— Неизвестно, товарищ. Вы очередь занимали?

— Занимал, да пропустил уже — все некогда.

— Понимаю и ничем помочь не могу, записывайтесь опять.— Продавец вынул из-под прилавка засаленную и размахренную тетрадь в дерматиновом переплете.— Пишите.

— Чего писать-то?

— Адрес, фамилию, ну и перечень материалов. Будут поступления, мы вам открыточку бросим. У нас — сервис. Да, товарищ, вы случаем «Литературную газету» не выписываете?

— Выписываю, а что?

— Там, говорят, дискуссия насчет дач. Будто запретят дачи строить.

— Это почему же?

— Частная собственность, она, мол, в психологии кулацкий уклон делает. Тут один клиент мне все это растолковывал, полковник Толоконников. Не знаете такого?

— Слышал про него, но не знаю. А вы-то согласны с такой мыслью — насчет кулацких отклонений?

— Вполне согласен! — Продавец несильно ударил по прилавку кулаком и прикрыл глаза с выражением откровенного довольства.

Учителя удивила и слегка озадачила такая неприязнь черноокого продавца к дачникам, и он спросил растерянно:

— А вы-то, собственно, причем?

— Хе, причем! Вы вот встаньте на мое место. Я полтора лимита выбил, я чего только не доставал, и все — как в прорву, сегодня есть, завтра уже нет. А сколько я оскорблений выслушал, сколько крови испортил, литрами у меня кровь портится и ежедневно. Вы вот еще вежливый, другой сразу бледнеет и начинает орать, будто у него кошелек с деньгами вытащили. Все строят, от мала до велика. У меня жена, спокойная женщина, и то говорит однажды: «Давай, Ибрагим, дом соберем где-нибудь на берегу речки. Двухэтажный, с каминном». Я люблю свою жену, но чуть ее не ударил. Нет строительных материалов, не хватает, товарищ. Я всем это объясняю, и никто меня не жалеет, они бледнеют и орут: «Давай, жулик!». Не жулик, совсем не жулик. Пустыню водой не напоишь, для пустыни нужен океан, ко мне же течет тихая речка, товарищ! И везде не хватает.

— Неправда! — возразил Павел Иванович. — Я вот недавно на юге был, — сказал так и покраснел. Он бы и не продолжал дальше, но продавец встряхнулся и замер, изображая внимание. Он, как предписывалось правилами, честно пытался стоять на позициях взаимной вежливости. Деваться было некуда: — Там, на юге, все есть. Деньги платишь, а материал тебе на дом доставляют.

— Вполне может быть, — ответил хозяин котлов и барачков. Он зачем-то перекинул на счетах пару костя-

шек и заложил карандаш за ухо.— Допускаю. У вас, товарищ, один выход.

— И какой же?

— Немедленно ехать на юг.

— Почему это я должен ехать на юг?

— Потому, что там всё есть.

— А вы не задумываетесь над тем, что вам положено, уважаемый, хорошо торговать, а дурацких советов я уже наслушался вдоволь.

Продавец посмотрел на учителя сверху вниз круглыми птичьими глазами и тягостно вздохнул:

— До свиданья, товарищ клиент,— твердо сказал Ибрагим, сдерживая слова похлеще, которые имеет в арсенале любой самостоятельный мужчина.— До скорой встречи. Я вас хорошо запомнил.

— Страшаете, да? — Павел Иванович надеялся, что кавказец сейчас взорвется, наговорит всякой всячины и тогда уже можно будет написать темпераментную бумагу, напирая на полную бездеятельность торговой сети, принадлежащей определенным ведомствам. Мало того, что сеть работает из рук вон плохо, она к тому же еще и кадры подбирать не умеет, берет людей грубых и неразворотливых.

Продавец на своей горячей точке навидался всякого, он вмиг уловил несложные переживания клиента и подумал с великим сожалением: «В другом месте я бы тебя отшил, козел тощий! Как следует отшил бы, но я на службе, козел!»

— До свиданья, товарищ клиент! — Осерчавший Ибрагим поклонился низко, будто провожал китайского мандарина.

Павел Иванович спустился с крылечка базы, увечно задевая ступеньки ногами, и остановился посреди обширного двора, чтобы успокоить разгулявшися нервы.

Солнце пекло и ярилось, окруженное дымкой. Колючая проволока над тесовым забором блестяла, котлы под



навесом оторасывали красные иголки света. Пыль была горькая, пахла она железной окалиной, от нее першило в горле. Павлу Ивановичу тотчас же вспомнилась деревня, сосновый бор, истомный ветерок, пахнувший свежими огурцами, золотые сосновые иголки на тропках, кудельный дым печей над крышами, синее небо, посвист пичуги в тальнике за старницей... Дед Паклин наверняка уже убрал опилки, и теперь самый раз ему вытаскивать мордушки. Он уже отнес жене Соне чашечку карасиков, одинаковых, в серебряных кольчужках, пузатеньких, точно отпечатанных под копирку. Хорошая жизнь у деда Паклина, позавидовать можно!

У ворот Павла Ивановича поджидал юркий тип в пестром пиджаке. Для начала тип попросил закурить, сигарету из пачки взял щепотью, будто горячую, закурил и выпустил дым из широких ноздрей, как из труб.

— Чичас само то,— сказал тип и цыкнул слюной сквозь редкие зубы под ноги Павлу Ивановичу, который деликатно отступил в сторону и тоже взял губами сигарету из пачки.— Чичас само то на бережку лежать, чтобы прохлада и всяко тако, а?

— Да, жарко...

Тип снял соломенное канотье и вытер обширную лысину несвежим платком. Лысина была неприятно серая, точно кусок истаявшего льда.

— Был там, у заведующего?

— Был.

— Нет ничего?

— Пусто.

— Чичас само то — на бережку. Прошлым годом я в Крыму был, на море. Крым — не Нарым. Публика богатая. Один там, на берегу: палатка надувная, матрац надувной опять, игрушки для дитя надувные. И женщина у него сдобная. Из Москвы сам. Москвич. Я возьми да и спроси у него: у тебя, мол, баба тоже надувная? Обиделся кровно. А я по нечаянности спросил, что и баба у него надувная. А тебе что надо?

— В каком смысле?

— Материал какой нужен?

Павел Иванович пожал плечами — вам-то, дескать, какое до того дело, но объяснил из вежливости, в чем он нуждается и зачем, собственно, приехал за тридцать земель на эту захудалую базу.

Тип закрыл глаза и пошевелил малость безгубым своим ртом.

— Так. Куда везти материал-то?

— В Красино.

— Так. Две косых на бочку.

— В смысле?

— Две сотни. С доставкой на дом.

— А где вы все добудете?

— Вот уж глупый вопрос, гражданин хороший!

- Дорого дерете, уважаемый, не по-божески!
- Цена рыночная, конечно... Не будешь брать?
- Дорого, пожалуй...
- Ну, и дурак! Дешевле тебе никто не даст.— Тип пошел прочь, высоко поднимая ноги в коротких штанишках. Он был в пляжной легкомысленной обуви на босу ногу, и черные его пятки зловеще мелькали.

Глава восьмая

1

Директор фабрики игрушек, мужчина в годах, с коричневым от загара лицом и веселыми ребячьими глазами, встретил Павла Ивановича вежливо и пригласил сесть в кресло, придвинул пепельницу на журнальном столике, кивнул: курить можно. Потом директор долго разговаривал по телефону, звонил он, как догадался Павел Иванович, в область, утрясал с тамошним начальством разные вопросы, записанные на узкой бумажке, иногда поднимал взгляд на гостя и медленно закрывал глаза: потерпите немного, курите себе и не смущайтесь.

— Зовут меня Степан Степанович,— сказал директор.— Вы из двадцать пятой школы, да?

— Да.

— Вы и не подозреваете, наверно, Павел Иванович, что вы — человек знаменитый, и я вас сразу узнал. Жена моя точно описала: похож на интеллигента старых времен. Не подозреваете?

— Не подозреваю.

— Это правильно. Скромность, она украшает. Моя супруга в прошлом году была на курсах усовершенствования и прожужжала о вас уши. На меньшевика, говорит, похож по внешности, извините. Только, мол, пенсне не носит. Вы ведь преподавали на курсах?

— Преподавал.

— Она у меня учительница, литератор тоже. Я вас познакомлю, вот радости-то будет! Она о вас самого высокого мнения. Чем обязан?

Поворачивать с высоких материй на баню Павлу Ивановичу казалось в этой ситуации крайне неловко, но он все же поворотил, потому как другого пути не было.

Директор к заботам Павла Ивановича отнесся весьма сочувственно, сказав, что ему самому не мешало бы перебрать свою банешку, да все руки не доходят, и еще сказал, что Павел Иванович по неопытности своей взялся за дело, пожалуй, не с того конца: дешевле и проще было бы купить где-нибудь бросовый сруб и перевезти его на место. В округе много деревень, которые отживают свой век, там и дома продают по сходной цене. Павел Иванович мягко возразил в том же духе, что сруб он хочет рубить именно сам и по чертежу академика Келли. Директор, безусловно, чтит авторитет академика Келли, но покачал головой с заметным сомнением: без академика оно, пожалуй, все-таки проще...

— Что ж,— вздохнул директор,— лошадь я вам дам. И трактор дам. Извернусь как-нибудь.

— Извините меня, ради бога, Степан Степанович, но не к кому больше мне обратиться!

— Понимаю.

— Сельсовет не поможет...

— Не поможет. Мужики там вроде и ничего сидят; правда, самая главная у них женщина... Без инициативы ребята. Разворотливости нет в них. Дело, знаете, житейское, помер, допустим, человек. Где гроб сколотить, крест или звездочку в приклад? У меня, на фабрике, приспособились. И отказать не могу. Говорю: вы кресты-то хоть по частям выносите, не в собранном виде, мы же игрушки делаем, не кресты. Когда вам нужна лошадь?

— Я помощников должен еще найти.

— Тогда позвоните, медлить не советую. С почты позвоните.

— Понял. Еще раз спасибо вам, Степан Степанович!

— Хотите, покажу вам, уважаемый Павел Иванович, чем мы, собственно, занимаемся?

— Признаться, я любопытен, но боюсь отнимать у вас время.

Директор поднял глаза на круглые часы, висевшие высоко на стене, и сказал, что время у него сейчас как раз есть, позднее же он будет занят по горло.

— Промысел на этом месте,— сказал Степан Степанович,— существовал давно, здесь купец Семибратов содержал заезжий двор с мастерскими. Наемные мужики гнули дуги и колеса, чинили сани, ковали лошадей. Если по теперешним понятиям, то у Семибратова была как бы бензоколонка с гостиницей и полным техобслуживанием. После революции хозяйство купца было передано промкооперации. Ну, по-прежнему гнули дуги и колеса, а лет этак десять назад лошадиная справа стала никому не нужна. Тогда задумано было создать фабрику. Когда же я пришел сюда директорствовать, фабрика резала из осины подрозетники. Вот и все. Я подал мысль делать игрушки. Мысль одобрили, выделили нам соответствующее оборудование, и мы наладили производство матрешек. Следуйте за мной.— Они миновали гуськом темноватый коридор и уперлись в дверь, которую директор открыл своим ключом, пояснив, что в этой комнате у них нечто вроде музея.

Комната была сплошь заставлена шкафами, и за стеклом, сильно блестящим от света, падающего через окно в торце, были сплошь игрушки, раскрашенные и нераскрашенные. Были здесь матрешки в сарафанах разных цветов и непохожие одна на другую обличьем, был здесь Буратино, большеротый и с выражением нагловатой хитринки в глазах, на пеньке сидел крокодил Гена с гармошкой... Особенно понравилась Павлу Ива-

новичу группа медведей, выполненная из дерева по сюжету перовской картины. Медведи с ружьями и рыболовной снастью вольно расположились вокруг костерка и вели беседу, типичную для охотничьего привала: один хвастал, другие слушали. Резчик добился предельной выразительности момента, и это было по-настоящему смешно.

— Вы знаете, отлично! — сказал Павел Иванович, имея в виду медведей. — А мастер кто?

— Представьте, десятиклассник. Он вечерами работает у нас. Мечтаю его к себе навсегда заполучить, но если мыслить шире, парню учиться надо.

— Правильно.

Еще в шкафах стояли резные самовары весьма тонкой поделки, портсигары, куклы, орлы с распростертыми крыльями, олени.

— Почему вы все это, — Павел Иванович повел рукой кругом, — лаком красите. Выглядит как-то оно...

— Вульгарно?

— Ну, это сильно сказано, пожалуй.

— Зато правильно. Глаз у вас точный, Павел Иванович, и замечание ваше верное. Уж пять лет, почитай, с торговыми организациями спор веду. Видите ли, резьбу, по идее, надо покрывать воском, чтобы играла фактура дерева, но не берет торговля вещи с таким покрытием: они требуют слишком тонкого обращения.

— Жаль...

— Конечно, жаль. А я все-таки приспособливаюсь, нужда, она заставит; с универмагами, где есть сувенирные отделы, договариваюсь, чтобы брали у нас товар.

— И берут?

— Охотно. Самовары наши из рук рвут.

— А медведей?

— Не поставляем медведей, нет их на потоке — это уникальная поделка, для больших гостей предназначена.

— А каким же образом вы резчиков собрали?

— Длинная история. Сам ездил по деревням. Собира́л, приглашал, упрасивал. Сейчас у меня их двенадцать. В основном, к сожалению, старики. Учеников набираю, чтобы ремесло это не ушло насовсем. Да. Я ведь вас, Павел Иванович, сюда привел не просто так, с прицелом, можно сказать, небескорыстно. Есть у вас знакомые художники? Хорошие?

— Есть, пожалуй...

— Нельзя ли мне с ними связаться при вашей помощи? Мне идеи нужны, оригинальность. Самовары по всему Союзу точат. Оленей — тоже. Да и медведей. Мне эскизы нужны, рисунки, а? Я мечтаю такой производить сувенир, чтобы ни у кого не было.

— Хорошо, я вам помогу как могу.

— Вот спасибо.

И тут директора позвали — секретарша сообщила с достаточной почтительностью, что на проводе опять область. Степан Степанович тепло пожал руку учителю Зимину, пообещав в другой раз показать ему фабрику, и они расстались.

2

Павел Иванович некоторое время сидел в садике фабрики под грибком, размышляя о том, что мир в общем-то не без добрых людей, что директор Степан Степанович в сущности — милейший и обходительнейший товарищ, не чиновник с холодной кровью, человек, одним словом. Это всегда приятно — встретить на своем пути порядочного человека. Кроме того, Степан Степанович неистово увлечен своим делом. На фоне директорских забот хлопоты насчет бани казались теперь пустыми и зряшными. Но тут Павел Иванович увидел отчетливо тяжелое лицо заместителя управляющего, своего банного приятеля, как тот уныло свистит носом и говорит, тяжело выдавливая слова:

— Третья мы все мастера. И не больше.

Павел Иванович заелозился на скамейке и через штaketник, пригнувшись, заглянул на улицу — не идет ли важной поступью там заместитель управляющего? Улица была пуста, и мысли учителя побежали по другой стeжке. Перспектива вырисовывалась, если разобраться, в радужном свете, огорчало лишь то печальное обстоятельство, что за помощью надо обращаться опять к Евлампью. Беда!

Евлампий прятался в мастерской школы, избушке за гаражом, темной и насквозь пропахшей солидолom. Прятался он там не один, а с Василем Гулькиным. Сидели они у окна и играли в шашки.

— Вот и свидетель явился! — возликовал Евлампий и тут же отвернулся. Узкая спина Евлампия наводила на грустную мысль, что ее обладатель несет в этой жизни непосильное бремя.

Гулякин тоже оживился:

— Я тут Евлаше уже два сортира поставил, совсем он не умеет играть. Он вообще ничего не умеет, ты заметил?

— Наоборот, я кругом слышу о том, что Евлампий Сидорович Синельников имеет золотые руки.

— Где это ты слышал?

— Все говорят.

— Это неконкретно.

Павел Иванович присел, вздохнувши, на табуретку, он понял, что скоро уйти отсюда не удастся, и свой разговор благоразумно оставил до подходящего момента.

В подслеповатое окошко, единственное здесь, косо падал свет и подрагивал квадратом на черном полу. Сквозь масляные пятна проступали восковые прожилки тесаного дерева. На полу, заметил Павел Иванович, ползла муха. Ползла она толчками, часто останавливалась и чистила крылья.

— Ты играй, не задумывайся, это бесполезно: опять я тебе сортир поставлю.

— А ты не хвастай.

— Я и не хвастаю.

— И не хвастай! — Евлампий ударил пешкой о доску. — Вот так ходим.

— А мы вот так!

Павел Иванович положил на теплый подоконник руку. Сквозь ржавые стекла виден был школьный двор, заваленный строительным материалом, дальше, на взгорке, была конюшня. Стены конюшни местами прохудились и были словно в неаккуратных заплатках, пришитых через край, штукатурка отваливалась кусками, обнажая серую вспученную дранку. Павел Иванович тотчас же вспомнил про горемычного борова Рудольфа, чья судьба была неопределенной. Павел Иванович собрался уже спросить у Евлампия насчет борова, но тот заговорил сам, обращаясь к Василию Гулькину:

— Ты Гришку Горбачева знаешь?

— Их тут много, Горбачевых-то, полсела Горбачевых. Ты играй лучше, я тебе два сортира поставлю.

— А ты не хвастай! Гришка Горбачев-этова едет на мотоцикле. У него «Ява», красная такая «Ява». Глядит, пень на дороге. Ну, он газок-то сбавил, чтобы объехать. А сам думает: тут вроде пня отродясь не было. Да и не объехал, ударился. Переднюю вилку согнул. А он хоть бы тебе что: встал и в кусты ушел.

— Кто?

— Рудольф, известно.

— Боров, что ли? — поинтересовался Вася Гулькин между прочим, напевая под нос себе.

— Боров, он и есть.

— Пропал боров, — сказал Гулькин.

— Почто это пропал? — Евлампию не нравилось, что Рудольф теперь животное бросовое, ведь повинен в его

злоключениях был Евлампий.— Чего ему исделается?

— У животных, темный ты человек, нервы намного слабей наших, слабей даже, чем у тебя. Он наверняка гипертоником стал. Давление у него повышенное. Или пониженное. Один выход: поймать и заколоть, пока не поздно.

— Кто летом свиней колет, дурак колет!

— Отвести в город и продать мясо-то. Базар все съест.

— Это съест...

— Три сортира тебе, Евлаша!

— Так уж и три?

— Гляди сам.

— И верно!

— Не умеешь, не лезь.

— Тебе день-деньской делать-то нечего, вот и на-таскался.

— Будто ты в потной работе с утра до вечера.

— Я дома хребет надсажаю, у меня— хозяйство. Дети, понимаешь, их одеть-обуть надо. Накормить. У тебя— Прасковья. Она тебя кормит, а когда и поит.

— Ты Прасковью не трогай!

— Я и не трогаю.

В минуты волнения у Евлампия плохо поднимались веки, они закрывали глаза, будто тяжелые жалюзи, и Евлампий тогда задирает голову, чтобы смотреть вниз и прямо на собеседника. Он вот и сейчас задирает голову, стараясь поймать в поле зрения голову Василия Гулькина. Евлампий медленно вынул из кармана часы, завернутые в тряпицу, и спросил:

— Спорить-то будем?

— Про что?

— Ты вот настаиваешь, что эти часы не бьются?

— И сейчас утверждаю. И в воде идут. Антимангнитные. Давай сюда, Прасковья уже допрашивала, куда часы девал.

— Погоди,— Евлампий, задрал голову, как слепой, поплелся. Во двор вернулся со стеклянной банкой, наполненной жидкостью.— Вода здесь,— и демонстративно поставил банку на верстак.

— Ну и что?— Вася Гулькин встал, позевывая, собрался покинуть компанию, протянул руку за часами.

— Я кладу. В воду кладу часы твои?

— С тобой спорить неинтересно, у тебя никогда денег нет.

— Почему спорим?

— Бутылка.

— Ты, Павел Иванович, будешь свидетелем.— Веки у Евлампия куда-то убралось, глаза побольшелись и округлились.— Кладу?

— Деньги есть?

— Тройка найду. Павел Иванович рупь добавит. Добавишь?

— Само собой.

— Тогда беги за поллитровкой,— приказал Гулькин.— Пока пьем, часы пусть в воде лежат. Клади!

Евлампий испуганно поворочал длинной своей головой, часто задышал, озираясь, и за самый кончик ремешка понес часы к банке.

— Не раздумал?

— Ты в сельпо дуй.

Часы в воде сплошь покрылись пузырьками и заметно увеличились размером. Евлампий присел на корточки, приник носом к банке и зачем-то постучал по ней ногтем.

— Быстренько в сельпо, на перерыв закроют!

Когда Евлампий вернулся из сельпо, часы в банке шли, сквозь круглые пупырышки, насевшие на стекло, было видно, как озорными толчками движется секундная стрелка. Евлампий опять подозрительно постучал ногтем по банке:

— Он их не вытаскивал?

— Не вытаскивал,— ответил Павел Иванович.

— Я тебе, Паша, верю.

Вася Гулькин смеялся и вертел головой, шибко потирая руки.

Евламий выпил (Гулькин разделить компанию отказался); когда же выпил, подобрел и стал деловит, спросив важно у Павла Ивановича Зимина насчет того, как решается проблема бани. Спросил с таким видом, будто только что услышал про эту самую баню.

— Я те помогу, Паша, будь спокоен.

— Спасибо. Когда лес трелевать поедем?

— Послезавтра, прямо с утра ранехонько и двинем.

Павел Иванович, как было уговорено, тотчас же позвонил директору Степану Степановичу и сказал, что лес будет трелевать послезавтра. Сообщил о том и хотел уже класть трубку, когда услышал вопрос:

— Забыл спросить у вас давеча... Может, вам еще что-нибудь надобно?

— Мне много кое-что надобно.

— Я жене о вас сказал, очень она обрадовалась, в субботу вечером на пирог зовет вас с супругой.

— Тронут, спасибо.

— Так что еще-то нужно?

— Шифер нужен, плаха, кирпич, цемент, пакля, стекло. Всего понемногу.

— Так. Звонил в рабкооп, Гулькиной звонил. Прасковье Семеновне. Она вас знает и отзывается о вас с уважением. Видите, какой вы популярностью пользуетесь не только в городе, но и у нас.

— Лестно, но Гулькина меня не знает.

— Знает. Так вот что. Я еще раз позвоню ей, а вы через часик примерно держите путь на рабкооп, имеете представление, где это?

— Найду.

— Да не заблудитесь, надеюсь. И спросите там Прасковью Семеновну Гулькину. Она все произведет вам в лучшем виде. Деловая женщина. Уяснили?

— Уяснил.

— Потом позвоните. До свидания.

Так вот просто раскрылась перед Павлом Ивановичем скатерть-самобранка.

3

Павел Иванович запыхался, пока шел в гору через бор до конторы рабкоопа.

Рабкооп вместе со складами занимал немало места. Вся территория была обнесена зеленым штакетником, а склады — еще мощной тесовой оградой с колючей проволокой поверху. Контора — внушительный дом из бруса — утопала в зелени. И даже крышу без просветов закрывали ветлы старых тополей. На крылечке монументально, руки в боки, высилась Прасковья Гулькина. Лицо ее издали напоминало цветок — было оно круглое и красное. Павел Иванович придержал свой размашистый шаг и, придавленный детской робостью, начал спотыкаться. Прасковья глядела на него сверху пристально и хмурила брови.

— Здравствуйте, — радушно сказала Прасковья. — Вы к нам?

— Здравствуйте. К вам.

В коридоре с шаткими полами было темно, где-то далеко и робко светилась лишь одна лампочка. Половицы прогибались под ногами, Павел Иванович смаху накатывал на Прасковью и отлетал прочь как от туго надутого мяча. Прасковья приостановилась у двери налево, обитой дерматином и в пупырышках мебельных гвоздей, с надписью «Бухгалтерия», ударила в дверь ладонью, сказала в глубину комнаты:

— Это от Степана Степановича, девочки. Выпишите товарищу, что попросит. Да в пайщики его внесите, он — дачник. Пусть членские взносы платит, — и подтолкнула Павла Ивановича в спину.

Комната была заставлена вдоль стен столами всяких мастей и размеров. Учитель попал под перекрестные взгляды женщин и молодниц на всякий вкус — толстых, тонких, красивых, некрасивых, крашенных и подеревенски скромных. Павлу Ивановичу на миг причудилась бредовая картина, будто весь земной шар забит столами и за этими столами — сплошь, словно колосья в поле, одни женские головы. И женские глаза, смотревшие на него с выражением скуки, потому что Павел Иванович был из себя мужчина невидный, особенно после того, как отпустил бородку. Сутулость, узкие плечи да еще бородавка вдобавок делали его похожим на дьячка, изможденного долгим постом.

— Сюда! — позвала крашенная девица, сидевшая у двери. С нее, видимо, брала начало технологическая цепь. По часовой стрелке. И кончалась эта цепь снова у двери, только с другой ее стороны. Павел Иванович шаркающими шагами направился в сторону крашенной девицы.

— Папиросу бросьте! — приказала мадонна из глубины комнаты.

Учитель воровской поступью, стараясь не скрипеть половицами, выскочил в коридор и поискал глазами урну, чтобы выбросить окурок. Урны в коридоре не было. Павел Иванович бросил сигарету в бочку с ржавой водой, стоявшую под грибок у крыльца. На грибке белой краской было написано: «Место для курения».

Женщины в обширной комнате разговаривали наперебой, темпераментно и не замолкли, когда Павел Иванович вернулся.

— Своим так нельзя, свои подождут, городским все есть. Свои подождут! Деревенские, темные...

Павел Иванович догадался, что камни летят в его огород, и сильно покраснел, переминаясь у крайнего стола, за которым сидела вульгарно накрашенная девица со скуластым лицом. Девица не смотрела на посетителя, она о нем забыла, она весьма заинтересованно участвовала в дискуссии на тему «город — деревня». Наконец девица заметила, что Павел Иванович уныло торчит подле, и показала на него пальцем:

— Пишите заявление.

— О чем, собственно?

— Какие материалы требуются, в каких количествах. И для чего.

— Как для чего? Баню хочу срубить.

— Вот и пишите: «с целью поставить на своем участке баню», неграмотный, что ли? И адрес укажите. Вы у старухи Савиной дом-то купили?

— Да.

— И сколько отдали.

— Не помню...— Павел Иванович действительно сейчас не помнил, сколько отдала жена за домик, потому что из головы у него все как-то вышибло: он волновался и был смущен.

— У него денег — куры не клюют, он даже не помнит!

Павел Иванович собирался каким-то манером осадить этих сердитых женщин, но тут дверь широко открылась и на пороге встала сама Прасковья.

— Почему долго держите товарища?

— Я еще заявление не написал,— объяснил Павел Иванович.

— Какое заявление? — Прасковья насупилась, вмиг уловила ситуацию.— Понятно, Мария! (Скуластую девицу звали Марией.) Ты ко мне после заглянешь для душевной беседы. Ты мне тоже, наверно, заявление напишешь.

— Хорошо.— Девушка поднялась со стула и огладила на ляжке платье, будто гимназистка перед классной дамой. Вид у нее был смиренный.

Павел Иванович очутился, наконец, на крыльце конторы, и в глаза ему жарко ударило солнце. Зимин знал твердо и наверняка, что на вторую процедуру такого рода он решительно не способен. Посули ему теперь же золотые горы и реки, полные вина, он не сможет, подобно часовой стрелке, пробежать этот канцелярский круг.

Учитель Зимин вытер потный лоб платком, осторожно спустился по шатким ступеням на землю и под грибом с надписью «Место для курения» увидел Прасковью, она поднялась навстречу ему, улыбаясь, спросила тихим голосом:

— Выписали?

— Выписал, спасибо вам, Прасковья Семеновна, за хлопоты. Душевное вам спасибо!

— Не все, что вы просили, есть у нас в данный момент. Пакли нет, кирпича нет, стекла нет тоже. Но я про вас буду помнить и в момент дам знать.

— Душевное вам спасибо, Прасковья Семеновна!

— Не за что. Вы домой? Я вас провожу немножко, нам по пути.— Прасковья отчего-то смущалась. Павел Иванович тоже засмущался, потому как уже догадывался: эта странная женщина тоже к нему имеет дело весьма деликатного свойства. И не ошибся: когда они отошли от конторы на приличное расстояние и дорожка завела их в бор под тень могучих сосен, Прасковья остановилась, расстегнула свою сумку, висевшую на плече, и протянула учителю книжку, завернутую с женским тщанием в голубую бумагу.

— Ваша,— сказала Прасковья,— вы в столовой оставили.

Павел Иванович не сразу вспомнил, что в столовой он оставил стихи Эдуарда Рукосуева. Не сразу вспом-

нил потому, что не очень сожалел о потере, но как истый интеллигент и вежливый человек, довольно сносно изобразил радость — поклонился Прасковье и слегка прижал тонкую книжку к груди пониже сердца:

— Как мне благодарить вас, Прасковья Семеновна?

— На столе лежала, в столовой.— Прасковья, похоже, не собиралась никуда идти, она теребила косынку, брошенную на плечи, и молчала. Павел Иванович тоже молчал и все кланялся, подыскивая слова, способные заполнить мучительную паузу, но голова его была пуста, он только мычал, закатывал глаза да дергал свою непородистую бородавку.

— Я прочитала эту книгу,— сказала Прасковья с таким выражением, будто исповедалась в тяжком грехе.

— И понравились вам стихи, Прасковья Семеновна?

Павел Иванович, млея в испуге, заметил вдруг, что прекрасные глаза Прасковьи наливаются слезами. Учитель Зимин опять замычал и начал кланяться, словно игрушка, которую завели пружиной. Прасковья уже всхлипывала, кивая: да, очень понравились стихи.

— Я две ночи не спала. Это так переживательно! — Она протянула руку, и Павел Иванович отдал ей книжку. Прасковья, вытирая слезы косынкой, судорожно перелистала страницы и нашла то, что искала.— Вот.

Стихотворение называлось «Прямой разговор». Автор в нем ведет откровенную беседу с женщиной, которую покинул любимый. Он, то есть автор, несколько не жалеет покинутую, он говорит ей горькую правду:

...Трудно вам. Простите. Понимаю.
Но сейчас вам некого ругать.
Я ведь тоже не мораль читаю.
Вы умны, и вы должны понять:

Что ценили вас, и это так.
Сами цену впредь себе вы знайте.
Будьте горделивы. Не меняйте
Золота на первый же медяк...

— Неплохое стихотворение,— сказал Павел Иванович академическим тоном (стихотворение было длинное и плохое),— но есть, поверьте мне, Прасковья Семеновна, стихи лучше.

— Лучше я не читала.

— Хотите, я подарю вам эту книжку?

— Что вы! — Прасковья перестала плакать и наморщила лобик.— Это же такая ценность!

— Возьмите, прошу вас!

— Ну, если уж просите... Вы ведь сами стихи пишете? Я слышала...

— Нет, Прасковья Семеновна, никогда не баловался, даже в детстве.

— Я вам не верю.

— Правда, не пишу стихов!

— Ну, ладно,— Прасковья благоговейно спрятала Рукосуева в сумку и насухо протерла свои глаза косынкой.— Извините меня, ради бога, я редко плачу. А тут, видите, расстроилась. У вас есть еще стихи?

— В смысле книги? Да, много.

— Ой, как хорошо! Вы мне дадите почитать?

— С превеликим удовольствием.

— Так я загляну к вам вскорости. И свои дадите?

— Не пишу я стихов, Прасковья Семеновна!

— Вы меня обманываете, по глазам вижу. Ну, ладно. Я побегу, всего вам хорошего.

— И вам всего хорошего.

Прасковья глубоко и грустно вздохнула, груди ее колыхнулись, как океанские волны, она повернулась спиной к Павлу Ивановичу и пошла прочь со склоненной головой.

Павел Иванович смотрел несколько секунд вслед ей, размышляя о том, что каждая крепость имеет слабый бастион, потому-то крепости и берут, даже самые неприступные. Эта женщина, такая уверенная в себе и по-

мужски хваткая, на поверку оказалась ужасно сентиментальной.

Павел Иванович Зимин вышагивал по тропе через заповедный бор, насвистывая песенку:

Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, на базар.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар!

Павел Иванович не убирал руки из кармана, сжимая в потном кулаке квитанции, оплаченные в кассе рабкоопа.

Глава девятая

1

Павлу Ивановичу приснился загадочный и полный аллегорий сон: будто за громадным, как поле, столом сидит директор фабрики игрушек Степан Степанович. Сидит в майке и при пионерском галстуке, из-под стола торчат его голые волосатые ноги. Глаза Степана Степановича мерцают, как у пришельца с других планет. Павел Иванович смутно понимает, что посетил директора с какой-то высокой целью, речь идет чуть ли не о смысле жизни, о сути нашего бытия. Какая-то философская категория точила душу Павла Ивановича. Вопрос свой он задать не успел. Директор все уловил без слов, телепатически, и показал большим пальцем за спину себе, где под самым потолком виднелась красная кнопка величиной с арбуз. Директор не разжимал мертвых своих губ, но Павел Иванович услышал внутри себя его четкий, размеренный голос: «Кнопка решает все. Нажмешь кнопку, тебе откроются тайны бытия».

— И баню можно будет срубить?

«Баня — суета. Не о том молвишь, человек!»

— И шифер можно будет привезти с того берега? Паром-то опять не работает. — Павел Иванович с мучительным стыдом сознавал, что несет голимую чушь, но остановиться не мог.

«Не о том, человек! Кнопку эту может нажать не каждый».

— И вы не сможете, Степан Степанович?

«Смогу. — Рука директора потоньшала вдруг в ниточку, вытянулась за спину и нажала кнопку. Стена кабинета раздвинулась, и сквозь темень проступили звезды, крупные и близкие.

— Что это?!

«Дверь в другой мир».

— А я кнопку смогу нажать, Степан Степанович? Мне бы шифер вывезти с того берега. Паром-то опять не работает — канат порвался.

«Попробуй».

Павел Иванович взгромоздился на угол директорского стола, осторожно подвинул ногой пластмассовый стакан с карандашами и начал перебирать ладонями прямо по звездам, которые на ощупь были скользкие и холодные. И стол был скользкий, как лед. Павел Иванович почувствовал, что падает, что до пола лететь ему далеко и долго. Упал он на карачки, мягко и не успел порадоваться благополучному исходу дерзкой своей попытки нажать красную кнопку, как ощутил мощнейший удар по заду. Глаза директора усмешливо мерцали: «Не дано тебе, учитель!».

— Не дано! — сказал Павел Иванович и проснулся, на секунду испытав настоящий ужас: поверх одеяла, на спине, лежало что-то тяжелое и холодное. Павел Иванович оторвал голову от подушки и осторожно повернулся. С раскладушки сперва тычком, потом плашмя свалился железный фуганок. «Вот оно что! Фуганок-то

на хилом гвоздочке висел, хорошо, что хоть на голову не упал, пришиб бы насмерть!»

Учитель Зимин, придерживая пояснуцу рукой, вышел во двор.

Тот год лето в Сибири стояло на редкость знойное. Селяне жаловались, что все горит на корню, но Павел Иванович был горожанином, и крестьянские заботы его как-то не касались.

Павел Иванович не стал делать зарядку и не бегал вокруг огорода: у него ныла спина, плечи, шея — учителя ломало после тяжелой работы, после трелевки и вывозки леса. В это утро он был счастлив: гора осинника лежала, сваленная второпях вчера поздно вечером, на улице вдоль забора. Львиная доля забот теперь позади. Баню рубить можно, остальное приложится. За все к тому же заплачено. Осталось вывезти со склада рабкоопа материалы, но склад был на другом берегу реки, и паром неделю уже не действовал, стоял на ремонте. Но ведь за все заплачено. Правда, не было в рабкоопе ни кирпича, ни цемента, ни бруса, ни гвоздей. Где это все взять, добыть, Павел Иванович не имел представления. Моментами перед глазами его мельтешила кургузая фигура спекулянта, стерегущего клиентуру возле торговой базы. Она мельтешила что-то уж слишком часто, и учитель отгонял видение прочь большим усилием воли. Тем не менее перед нашим героем встала, наконец, конкретная задача — взять топор и рубить сруб. Все бы оно ладно, да в глубине души Павла Ивановича еще вчера зародилось подозрение, что в тайге они похозяйничали на чужой делянке. На развилке дорог за селом учитель показал трактористу ехать налево, но Евлампий, сидевший тоже в кабине, заплевался и вознегодовал:

— Ты, Паша, опять мозгу пудришь. Направо надо!

— По-моему, так налево...

— Это по-твоему! — Евлампий постучал кулаком по плечу тракториста, пожилого невозмутимого мужика в кожаном картузе: — Старое овощехранилище знаешь?

— Я тут все знаю.

— Ну, и двигай туда.

Павлу Ивановичу, когда приехали на место, показалось, что лес лежит не так, как они его укладывали, что и лес не тот, и ручейка внизу нет. Из ручейка еще Гулькин пил... Он хотел сказать об этом, но уверенность Евлампия развеяла сомнения, а вот теперь, утром, снова сердце кольнуло тревогой. И опять верх взяла здравая и логичная мысль: не мог же Евлампий ошибиться — век он здесь живет, должен ориентироваться в лесу, как на собственной печке. Павел Иванович усмехнулся про себя с легкой грустинкой: «Однако старею. Но ничего, и нам перепадает иногда право нажимать красную кнопку!» — подумал Зимин, вспоминая сон, и тут же унял свою гордыню, он думал теперь над тем, что вряд ли под силу ему одному поднять, растащить гору леса, ошкурить его, подогнать и сложить сруб. Он не совсем ясно представлял себе, как все это будет протекать. На Евлампия надежды было мало. Вчера, когда они вернулись из леса, Евлампий заявил, отворачивая унылое свое лицо:

— Не обессудь, Паша. Я тебе когда и помогу, но нерегулярно, у меня сейчас по дому забот полон рот, семья на моих плечах.

— Ясно.

— Завтра с утра, может, и подбегу.

— Ты уж постарайся.

— Уж постараюсь.

Евлампий был в тоске по неизвестной причине и снова начал выпивать.

Надежда на помощь, таким образом, почти исключалась, поэтому Павел Иванович, выпив наскоро кофе,

взял топор, надел трико, пляжную шапочку с длинным козырьком и открыл калитку.

На противоположной стороне раздольной деревенской улицы, поросшей муравой и кашкой, открывал калитку дед Паклин. Он по самое плечо втокнул руку между штакетин и, уставясь в небо пустыми глазами, нашаривал крючок, в другой руке наотлет дед Паклин держал чашечку с карасиками.

«Рано он сегодня поднялся,— подумал между прочим Павел Иванович.— Уже и мордушки свои перетряс».

Дед справился, наконец, с крючком и вывалился за улицу, спотыкаясь, будто кто-то в огороде дал ему по шее.

— Привез лес-от?

— Привез, Нил Васильевич! — В тоне учителя была плохо скрытая гордость.

Дед Паклин покряхтел, разворачиваясь вокруг собственной оси, и, не выпуская чашечку, присел на бревно рядом с Павлом Ивановичем.

— На дрова привез?

— Почему же на дрова! — Сердце учителя щемяще покатилося вниз.

— Плохой лес, кривой,— Нил Васильевич поставил чашечку на траву в ноги себе. Пузатенькие карасики, чуть залитые водой, еще шевелили плавниками, засыпая. Глаза рыбешки затягивались синей поволокой.— Нестроевой лес. Ты, понятно, не мужик, что с тебя взять, а вот Евлампий, курва, куды глядел? Пьяный был Евлампий-то?

— Нет вроде бы.

— Ишшо хуже! — Нил Васильевич с укоризной покачал мосластой своей головой и прикурил папиросу. Влажные его щеки заработали как меха (папироса была сырая) — Труба тебе, сусед! Денег много извел?

— Денег много ушло, Нил Васильевич! — Зимин слабо воткнул топор в осиновую кору, он попытался было работать, но слабые ноги не держали его. От расстройства, конечно, не держали ноги.

— Так что, и бани не срубить мне?

— Мало лесу-то. Еще, поди, тракторную тележку надо везти. А так почто, поди, не срубишь, погорбатишься и срубишь. Только шибко горбатиться надо. И торопись ты, удила рвешь. Зачем торопишься-то? Вон полковник Толоконников, тот мужик основательный, ладом робит. И правильно, потому что над ним не капает. И над тобой не капает. Хочешь париться, мою вон баню топи, да и наяривай, сколь влезет. К осени бы лес повалил и вывез, когда на селе горячка кончится. Оно покойно и по порядку.

— Надо мне торопиться, Нил Васильевич, — ответил учитель невеселым голосом. — Обещал я...

— Кто торопится, Паша, тот и тише едет. Закон.

К ним шел развалистой боярской поступью Григорий Сотников, губы его масляно блестели и над брюками благополучно нависал тугой животик. Казалось, под майкой Сотникова озорства ради спрятан футбольный мяч.

— Привет, соседи!

Дед Паклин Григорию ничего не ответил, учитель же низко и печально поклонился.

— Я тут одного мужичка спрашивал, как на Сахалине со строительным материалом. Как на юге: все есть. В Рязани тоже вроде неплохо, по первому требованию домой привозят. — Григорий Сотников попинал лес, оглядел его и дипломатично смолчал.

— Омманули человека! — сказал дед Паклин и закашлялся. Кашлял он долго, визгливо, и спина его, согнутая кочкой, подпрыгивала быстро и высоко.

Сотников посмотрел на деда сверху вниз с превосходством и воздел брови:

— Курить бросил бы. Курить — здоровью вредить.

— Пятьдесят лет курю, — невнятно ответил дед. — И похоронят с папиросой. К чему уж бросать-то?

— Черта есть? — осведомился Сотников у Павла Ивановича. — Без черты ничего не получится.

— Есть. Вы же, Григорий, по-моему, смотрели ее.

— Ах, да! Смотрел. Ничего черта...

У Павла Ивановича было уже три черты. Правда, он до сих пор не имел ни малейшего представления, как ими пользоваться, но зато с этой стороны он подстраховался крепко.

— Лес, я говорю, хреновый, Гриша.

Сотников еще раз обошел штабель осиновых лесин, сваленных у забора, и раздумчиво почесал редеющий затылок:

— Не того лес, да. Хлыстами надо было брать, правда?

— Хлыстами оно лучше, конечно, но все одно хреновый лес. Умаешься ты с ним, Паша, ничего у тебя не сладится, пожалуй что.

— Евлампий обещал помочь...

— Евлампий твой не дурак, он же видел, что привез, и пуп рвать не станет.

— Один попробую.

— Попробуй. — Дед нагнулся, взял чашку с карасиками, подволок ее поближе, чтобы не опрокинул кто по невнимательности, и утер ладошкой замокревший от кашля рот. — Я же тебе советовал: навари браги, пригласи ребят и сгношат они тебе здание любых, значить, размеров. И высоты любой. Айда-ко со мной, покажу кое-что. — Дед не просил, он отдавал приказ, и Павел Иванович опять воткнул топор в комель лесины. Они пошли строем, в затылок друг другу: впереди Нил Васильевич, за ним учитель Зимин и на некотором отдалении, не выдержав дистанции, Григорий Сотников, не приглашенный официально, но полный любопытства.

Дед Паклин имел обширную усадьбу, большой и ветхий уже дом со множеством разнокалиберных пристроек — сараев, сараюшек и навесов. От калитки к дому вел тротуарчик в две доски, поперек тротуарчика лежали три свиньи, которых дед Паклин поднимал пинками, потом дорогу перегородил козел с дьявольскими глазами и спутанной бородой. Козла дед взял за рога и столкнул с тротуара. Доски под ногамигнулись и качались. Дед крикнул в открытые двери сени, видимо, старухе, что сосед пришел к нему за скобами, и сам, обернувшись, подмигнул Павлу Ивановичу: дескать, я вру, а ты не подводи меня.

— Каких скоб надоть тебе, Паша! — громко, на всю улицу заорал Нил Васильевич.

Зимин догадался, что старуха Паклина глуховата, и заблажил еще пуще:

— Любых, сосед, какие у вас найдутся!

— Айда, они у меня в одном месте припрятаны.

Возле погреба за сараюшками у деда был покатый ларь с громадным замком в форме калача, замок они отперли винтовым ключом и откинули крышку; в углу ларя, закиданный сверху соломой, стоял закопченный агрегат, состоящий из нескольких чугунов и сковородок. Назначение агрегата Павел Иванович при самом искреннем желании понять не смог, зато Григорий Сотников, нагнувшись, пошевелил губами и брезгливо сопел.

— Чего сопишь, Гришка! — взвился почему-то Нил Васильевич. — Ты почему сопишь? Литра в день производит, и не первач — слеза вдовья.

— Ты свои горшки, папаша, спокойно на металлолом сдай. Дерьмо твой аппарат. Хочешь настоящий посмотреть? Айда ко мне.

Они опять потопали гуськом, только теперь Гриша Сотников державно вышагивал впереди, учитель трусил в середине, дед же, оскорбленный в лучших своих чувств-

вах, держался сзади. Свиньи с тротуарчика сползали сами, козлу Сотников дал пинка с такой силой и так ловко, что тот пробороздил рогами две канавки и, заблевав надтреснуто, исчез в кустах малины.

Григорий Сотников жил аккуратно. От калитки, выкрашенной в зеленый цвет, вела в глубь двора бетонная дорожка, и все кругом было новое — дом, сарай, навес для дров, баня. Штакетник был тоже новый. Дети — два тугих пузана в панاماх — играли песочком в отведенном для этого месте. Живности никакой под ногами не крутилось.

Григорий сказал кому-то в пустоту:

— Дай-ка ключ от гаража, — и повернулся к Павлу Ивановичу. — Тебе полуось нужна?

— Да, полуось. Если можно.

— Почему не можно. Есть у меня лишняя полуось. Ульяна, ключи!

Невесть откуда появилась деbeatая женщина, очень похожая выправкой и статью на хозяина, и сухо поклонилась.

— Сосед деталь просит одну, выручать надо, Ульяна.

Женщина опять поклонилась и вытащила из кармана фартука связку ключей. Григорий Сотников кивнул учителю и старику Паклину: прошу, мол, следовать за мной.

В гараже Сотников разом потерял солидность и засуетился, заметался, как мышь, он шепнул Павлу Ивановичу:

— Встань в дверях, — и громко, для жены, витавшей злым духом где-то рядом, заговорил: — Пока мотоцикл имею. С коляской. Через год, если все сладится, машину буду покупать. «Москвич» хочу. С машиной оно как-то лучше.

— Оно лучше, — солидно подтвердил дед Паклин.

Сотников говорил и расторопно совершал какое-то действие весьма таинственного свойства: он снял со сте-

ны деревянную полку, за полкой оказалась внушительных размеров дыра, в темном нутре дыры блестело стекло. Вдруг в руке Григория появился стакан, наполненный светлой жидкостью. В правой руке был стакан, в левой — огурец. Дед Паклин судорожно принял стакан, выпил единым махом, зачем-то присевши, и вогнал в рот огурец. Сотников следом тоже опрокинул в себя порцию и одновременно погрозил деду кулаком: не кашляй, терпи! Павел Иванович чувствовал на своей спине тяжелый взгляд сотниковской хозяйки. Взгляд этот воткнулся и торчал меж лопаток, будто стрела, выпущенная из лука.

— Будешь? — шепнул учителю Сотников.

— Нет.

— Тогда бери вот, — и Гриша протянул Павлу Ивановичу мешок. — Это полуось, она тяжелая. Дотащишь, поди?

— Дотащу.

Полка во мгновение ока была водружена на место, и все трое дружно и весело шагнули на свет.

— Помогу соседу, Уля, полуось установить, — небрежно бросил жене Сотников и отдал ей ключи.

На улице дед Паклин целиком исторг изо рта огурец и закашлялся.

— Теперь можно, папаша, — благодушно разрешил Сотников, — теперь кашляй и сморкайся хоть до второго пришествия.

...Мешок Григорий Сотников развязывал сам, развязывал медленно, благоговейно и вынул на свет великолепный самовар средних размеров, никелированный, ясный, с фигуристым краником. Чудо-самовар, одним словом.

— Ну и что? — дед Паклин был разочарован. — Эка невидаль — самовар. Их нынче продают.

— Ты как ребенок, папаша, ей-богу! Зачем мне самовар в чистом-то виде? Это, папаша, самогонный аппа-

рат новейшей конструкции, с фильтром от противогаса и все прочее. На одном заводе братва мне устроила. Включается в сеть. Видишь, провод есть, вилочка есть. Не твои чугунки, понимаешь.

— Вот это да-а-а-а!

— Пользуйся, Павел Иванович. Я тебе все обскажу, Павел Иванович. Никаких тебе хлопот, включил и — капает.

— Сколь в день? — поинтересовался дед Паклин и ласково огладил самовар черными изломанными руками.

— Больше литрухи.

— Зачем он мне, товарищи! — взмолился Павел Иванович. — Еще не хватало мне самогон гнать. Это же позор!

Дед Паклин посмотрел на учителя с укоризною и мелко потряс головой:

— Я тебя, Паша, не понимаю. Ты человека благодарить должен, а ты, Паша, в душу ему плюешь. И не стыдно? Вот накапает тебе по баночкам литров пять...

— Пять — мало, — сказал Гриша Сотников.

— Накапает тебе, значить, по баночкам литров десять...

— В самый раз, папаша.

— ...и пригласишь ты мужиков с нашей улицы. Так, мол, и так: баня нужна. Да. За деньги тебе никто, Паша, робить не станет, за угощение — с полным удовольствием, потому как, Паша, мы — русские. И не стыдно тебе?

Павлу Ивановичу на самом деле сделалось стыдно: люди для него стараются как могут, а он от ласки нос воротит.

— Дрожжей у тебя нет, конечно, — с уверенностью сказал Гриша и протянул Зимину пакет из газеты. — На тебе и дрожжи.

— Вот и дрожжи дает тебе сосед,— запел снова дед Паклин.— Дрожжи теперича не достать.

— Спасибо, товарищи!

— Так-то оно лучше,— покивал опять головой дед Паклин.— Он же от души, потому как люди мы— русские.

— Спрячь пока,— Григорий показал на самовар глазами,— вечером запустим.

2

Павел Иванович вскользь раздумывал о том, откуда в нем такая страсть к крестьянской работе, эта любовь к запаху стружек, сырой коры и эта неустанная дерзость, уверенность в том, что у него все получится и что он все сможет? «Мы ведь от земли,— думал Павел Иванович,— в крови нашей однажды пробуждается Великий Зов хоть ненадолго воротиться к истоку родника, из которого пьем». Так красно думал учитель словесности, трудясь, на диво родным и соседям, как муравей.

Перво-наперво Павел Иванович ошкурнул с десятка самых добрых бревен и перетянул их волоком в дальний угол огорода, начисто разрушив при этом грядку с горохом. Жена пробовала при виде разрушения сказать с крыльца обличительную речь, но супруг глянул на нее так остро и зло, что жена Соня, не привыкшая к дурному обращению, мягко спятилась в дом. Она с дочерью Галиной уходила на речку. Они не возвращались даже обедать. Павел Иванович их крепко обидел и, между прочим, не испытывал никакого раскаяния. Сперва он попросил жену Соню помочь распилить бревно. Жена пилу за ручку держала брезгливо, тянула ее на себя рывками и вкось. Павел Иванович объяснял терпеливо, как умел, что на себя пилу тянут плавно, от себя же лишь мягко отпускают— вот, дескать, и вся наука. Жена простую науку не ослила. Может статься, не очень

и хотела осилить, и с оскорбительной последовательностью не усваивала урок. Тогда Павел Иванович громко заявил жене, что она женщина тупая, и до сих пор ему лично непонятно, как она сумела закончить институт и почему не краснела, когда ей под музыку вручали диплом? Соня бросила пилу наземь и пошла прочь. Голову дритом она держала высоко и гордо. Она будет дуться с месяц, но Павла Ивановича это обстоятельство теперь как-то не очень беспокоило, он, помучавшись, мобилизовал на помощь дочь Галину, здоровенную деваху, восьмиклассницу, и вновь растолковал про то, как обращаться с пилой. Дочь получила отставку быстрее жены и с подзатыльником в довесок, что по нынешним меркам оценивается едва ли не преступлением против педагогики и высокой морали. Но Павла Ивановича, повторяем, мораль и прочие материи сейчас занимали мало. Дочь перебежала в стан обиженных. Это было удобно для дочери: она готова была сердиться на отца постоянно, потому что он заставлял работать. Нигилизм молодежи легко объясним именно под этим углом, если не мудрствовать лукаво.

Дня три, как было уже сказано, Павел Иванович ошкуривал и перетаскивал бревна в огород. Он ничего не загадывал, настроившись оптимистично, твердо уверовав, что все потихоньку образуется.

Жизнь шла, катилась с размеренным однообразием, и ничего особенного не происходило: по-прежнему мелькал дед Паклин с алюминиевой чашечкой, каждое утро заглядывал Григорий Сотников, который все еще бюллетенил. И дед, и Григорий интересовались одним:

— Капает, Паша? — и подмигивали заговорщически.

— Капает, — со вздохом отвечал им Павел Иванович и вел гостей в летнюю кухню, где стоял самовар, производящий зелье. Павел Иванович наливал дорогим соседям из пол-литровой банки по стаканам. Дед Паклин приносил в кармане пучок лука, сорванного с грядки,

Гриша Сотников благоговейно нюхал корочку. Оба кряхтели и задумчиво жмурились.

— Ничем вроде не отдает? Или отдает, Гришка? — осведомлялся дед.

— Да вроде бы не должно пахнуть-то. Там же фильтр от противогаса стоит, я же тебе говорил.

— И до чего люди только не додумаются, и-и-и! А ну еще по маленькой, Паша, — и дед Паклин протягивал свой стакан тряской рукой.

Эта сцена повторялась в обед и вечером. Потом Павел Иванович перестал церемониться — он махал из огорода, показывал на летнюю кухню: сами, мол, распорядитесь, мне некогда. Бывало, дед не мог самостоятельно пересечь улицу, у него сводило ноги. Гриша Сотников великодушно доносил старца до его калитки и толкал во двор, сваливал туда и удалялся с высоко поднятой головой.

За неделю Павел Иванович успел припрятать лишь литр самогона, а надо было накапать много, литров хотя бы пять-шесть, чтобы кликать мужиков на помощь.

Заглядывали иногда и другие соседи, советовали, рассуждали о значении бани в нашей повседневности. Один говорил, что лично он ошкуривал лес прямо на срубе и черту проводил по коре, другой утверждал обратное: лес желательнее маленько обветрить в ошкуренном виде, прежде чем рубить сруб, третий наставлял ставить бревна для пущей крепости на шканты, как ставят брус. Павел Иванович благодарил за советы и продолжал мантулить один. Евлампий все не шел и не шел. Павел Иванович уже стал забывать о нем, и время как-то уж само собой он начал делить резким рубезом на две половины — до привозки леса и после. Все, что было «до», было давно и уже покрыто горьковатым пеплом забвенья. Евлампий и прочее, связанное с ним, казалось зыбким и неправдашним.

Сквозь вязкую явь четко проступали отдельные картины.

Вот Павел Иванович в драных трико и пляжной шапочке, тонконогий, измордованный работой, будто торгожник на каменоломнях, со скорбной бородой на невеликом лице, тащит, подставляя катки, тяжеленное бревно с удельным весом железа в сторону грядки, на которой еще недавно рос горох, в дальний угол огорода. Тащит и вдруг чувствует, что бревно за его спиной начинает вроде бы выгибаться, дальний конец его поднимается и застывает на весу. Павел Иванович недоуменно оглядывается и сразу делает шаг в сторону летней кухни, где висят его брюки, потому что сзади стоит, улыбаясь радушно, Прасковья Гулькина, большая и веселая. Она застилает своим телом видимость. Прасковья не двигается, потому что в правой руке она без видимых усилий держит комель бревна. Она кивает: «Берись, понесли!» Павел Иванович, суетясь, берет обхватом конец и, кондыляя, толчками, шагает через грядку. Прасковья сноровисто заносит свой конец и командует: «Раз, два, бросайте!» Бревно издает костяной звук и ровнехонько ложится в штабель. Прасковья трет ладонь о сарафан. На ней голубая в черных пятнышках косынка, она в босоножках, мощные ее ноги, замечает Павел Иванович некстати, покрыты золотым волосом, под сарафаном вздымаются груди величиной по арбузу. И снова Павла Ивановича поражает детское и дивной красоты ее лицо.

— Спасибо, Прасковья Семеновна!

— Не за что. Почему женщины-то ваши сидят?

Жена Соня и дочь Галина панически заторопились в избу.

Павел Иванович рассеянно и виновато пожал плечами.

— Берегите женщин своих?

— Берегу...

- Грыжу не наживите.
- Постараюсь не нажать.
- Здоровый всем нужен, калека всем в тягость.
- Правильно, пожалуй...
- Материал вывезли?
- Нет.
- Почему?

Павел Иванович опять воздел плечи с выражением полной безысходности — ведь обстоятельства были выше его:

— То, видите ли, паром не ходил...

— Позавчера наладили еще, сама в городе канат доставала.

— То транспорт не мог найти...

Шоферы и трактористы, к которым периодически обращался с почтительной робостью Павел Иванович, наотрез отказались ехать за реку, боясь застрять там надолго. Шоферы и трактористы говорили, что рискнуть можно лишь по приказу начальства. К директору фабрики Степану Степановичу обращаться еще раз было уже неловко, и учитель мучил себя размышлениями о том, что люди кругом обременены заботами, а он отвлекает народ ради своей прихоти.

— А я для вас книжку припас, Прасковья Семеновна. Хорошая книга. Вам надо, по-моему, начинать с классики.

— Стихи, да?

— Да. Некрасова. Читали?

— В школе проходили кое-как, считайте, что и не читала. Только с возвратом не торопите.

— Какой разговор!

— Спасибочки вам большое. А свои стихи не дадите? — Прасковья зарделась и положила ладонь на грудь себе, клонясь.

— Я не пишу стихов, Прасковья Семеновна!

— Обманываете ведь! — Прасковья несердито погрозя Павлу Ивановичу пальчиком.— Ну, ладно, я упрямая и своего добьюсь. Теперь одевайтесь.

У калитки на выходе Прасковья взяла Павла Ивановича за руку, как мальчишку, и дернула так, что он мотнувшись всем телом, будто тряпичный, сронил с головы пляжную шапочку и не поднял ее, смирившись с потерей: Прасковья тянула его вперед со страшной силой. Она забыла выпустить его руку из своей, она просто не замечала, что тащит за собой груз: учитель был легкий. Дышала Прасковья слышно, но не тяжело, в привычном ритме, от нее веял теплый ветерок, несущий запах недорогой косметики.

Шибким ходом Прасковья вытянула Павла Ивановича к перекрестку недалеко от фабрики игрушек и лишь здесь остановилась. Прасковья раскрыла черную сумку, висевшую у нее на плече, достала из нее пестрый носовой платок, мужской, вытерла пот со лба и спрятала платок обратно, громко щелкнув замком. Она чего-то ждала, круглое ее лицо просветлело, когда вдаль показался голубой трактор «Беларусь» с прицепом. Прасковья шагнула на середину дороги, уперла по привычке руки в бока, и трактор остановился буквально в полуметре от нее, из кабины сумеречно вылез тощий и кудрявый парень в солдатской гимнастерке. Прасковья угрибисто взяла его за грудки и чуть ли не на весу поднесла его близко к себе:

— Дыхни!

— Да что вы, Прасковья Семеновна! Ну, было раз, так я же обещал.

— Ваши обещания ломаного гроша не стоят. Когда на тот берег поедешь?

— Да вроде бы и ни к чему мне туда ехать.

— Завтра поедешь. Привезешь вот человеку материал, да сам погрузишь на складе, понял? Человеку некогда, занятой он.— Прасковья поманила бровью Павла

Ивановича и забрала у него из замокревшей ладони квитанция.— На тебе. Завтра чтоб все было на месте.

— Как же так, Прасковья Семеновна!

— Я дважды не повторяю, парень!

— Ладно. Этому, что ль? — тракторист показал черным пальцем на учителя с таким видом, будто с трудом отыскал его в толпе.

— Этому.

— Пусть покажет, где живет.

Павел Иванович показал, где живет: отсюда хорошо была видна его избушка.

Парень спрятал квитанции в нагрудный карман гимнастерки и полез в кабину. Прасковья была уже далеко, издали она кивнула Павлу Ивановичу и больше уже не оборачивалась, скоро ее косынка затерялась среди сосен на горе.

«Прасковья умеет нажимать красную кнопку», — без зависти и удивления подумал Павел Иванович и побрел назад с низко опущенной головой.

Мы уже говорили о том, что боров Рудольф самостоятельно сделал два умозаключения. Первое состояло в том, что тьму не обогнать. Второе заключалось в том, что быть врагом человечества плохо. Хуже некуда. Что с человечеством надо мириться. А как мириться, боров еще не знал.

Поначалу Рудольф добывал корм, чтобы не вознестись. Он исхитрялся, он стал коварным и злым, но после множества приключений он пришел к третьему и важнейшему в своей биографии выводу: без человека жить невозможно. Подспудно, однако, в просторном черепе рекордиста зрел вопрос уже философского порядка: «Зачем я родился, и зачем я нужен людям?»

Это был ключевой вопрос, но ответа на него пока не было. Боров лежал в кустах напротив избы деда Паклина и дожидался ночи, чтобы выйти на охоту.

Глава десятая

1

На следующее утро, когда чуть разбрезжило и в огороде над цветами загудели пчелы, к Павлу Ивановичу, незванный, прибежал прораб Василий Гулькин. Был он свеж, румян и полон деловитости.

Павел Иванович сидел на крылечке летней кухни и докуривал первую свою сигарету. Вася Гулькин снял зачем-то рубаху и кинул ее на лавочку, потом снял штаны, остался в плавках и кедах на босу ногу.

Павел Иванович угрюмо прикидывал, накапал ли малую толику самовар, или наливать Гулькину из заветной банки, из неприкосновенного запаса? Самовар был спрятан в углу кухни, под досками пола, ночью он сопел и пофыркивал. Павел Иванович просыпался, прокрадывался на цыпочках в угол, садился там на корточки и слушал. Он боялся этого агрегата, он с ним не смирился. Учитель молил бога, чтобы агрегат сломался непоправимо, чтобы его унес в мешке Гриша Сотников к себе. Унес навсегда.

Но самовар не ломался — он шипел и посвистывал полные сутки, снабженный, по словам Гриши, реле, включался и отдыхал по собственному усмотрению. Это ведь было последнее слово техники.

Вася Гулькин тем моментом шагнул в летнюю кухню, слегка отодвинув хозяина ногой, и посвистывая, стал внимательно рассматривать инструмент, развешанный по стенам. Он нашел топор, попробовал блестящее его жало большим пальцем, покатал топориче в руке и качнул головой с одобрением. Вася взял также ножовку, двуручную пилу и молча отправился в дальний угол огорода, за гороховую грядку, где белел ошкуренный лес. Павел Иванович подобрал другой топор с пола и, любопытствуя, побрел вслед за Гулькиным. На вся-

кий случай учитель думал про закуску. Банка с соленьями была в подполье, и это обстоятельство несколько усугубляло обстановку: в доме еще спали и тревожить обиженную семью страсть как не хотелось.

Вася Гулькин стоял, вдавив ноги в мягкую землю, и щурился — прикидывал, с чего начать.

— Лес неважный, — сказал Гулькин, — кривой лес.

— Вместе валили...

— С меня чего взять было, я спал, а вот Евлампий — подлец. Все у него наперекосяк, — Гулькин, сощурился, еще раз со внимательностью поглядел на ошкуренные бревна. — У меня такое впечатление, — сказал он, — что ты чужой лес вывез, ей-богу!

Учитель сразу затосковал, ноги его ослабели, и он присел на холодный кирпич:

— И у меня такое же впечатление, Василий. Так ведь все Евлампий: я ему говорю — налево надо от развилки. Вроде бы налево мы сворачивали, не помнишь?

— Налево, точно.

— Ну, а Евлампий утверждает — направо, мимо старого овощехранилища, вот незадача! Не везет мне, Василий!

— Не расстраивайся, может, то и к лучшему...

— Хозяин ведь найдется?

— Обязательно найдется. Отдашь лес, за твоим еще раз съездим. Не расстраивайся. Я помочь тебе пришел, Прасковья намек дала. Понравился ты ей чем-то. А сам бы я не догадался, честное слово! Прямо говорю, не догадался бы.

— Что ж, спасибо.

— Не мне спасибо — Прасковье. Времени у меня мало, давай шевелиться.

— Может, это... Может, опохмелишься? — Павла Ивановича легко было расстрогать, он уже решил слазать в подпол, достать огурцов с капустой, чего бы это ему ни стоило.

Вася Гулькин упер руки в бока совсем как Прасковья, задрал голову и долго смеялся.

— Зря ты, Павел Иванович, этой меркой меня берешь. Я не запойный. Тут такая ситуация... Тебе сказать можно. И скажу. С Прасковьей у меня конфликт произошел. Мы для рабкоопа дом строим. Жилой, восьми-квартирный. Является она туда и давай командовать: это не так, то не эдак. Меня срамит принародно, я отозвал ее в сторонку и шепотком, на ухо: я твой муж, я строитель по специальности и не халтурщик, я техникум кончал с отличием и мотай отсюда пододру-поздорову, командуй в другом месте. Она не унимается. Я говорю: рассержусь, Прасковья,хватишь ты лиха от меня! А, что ты мне сделаешь, побьешь? Нет, драться с женщиной не в моих правилах. А что тогда? Я и закуролесил. А тут она меня еще в столовой с крыльца спустила, опять принародно. Я еще пуще. Я знаю, чем ее пронять можно — пьяниц она ненавидит. И напугалась до смерти: чужих мужиков за водку гоняет, а свой тоже пьет, как сапожник. Понял?

— Понял.

— Плачет: прости ты меня, дуру, Васенька! Бабам поддаваться тоже нельзя, на шею садятся. И ноги еще свешивают. Козлы у тебя есть?

Козлы были дряхлые, правда, но еще годились. Павел Иванович собирался изладить новые козлы, да все как-то рук не хватало.

— Рад за тебя, — после некоторой паузы сказал учитель. — Искренне рад, Вася! Я о тебе уже плохо думать начинал, признаться.

— Пить я умею, Павел Иванович. Весьма в этом умерен.

— Хорошо, коли так.

— Помогай. По ходу буду растолковывать, что к чему. Жалко, уезжаю завтра. За сорок верст отсюда де-

ревня есть у нас, Сухой Яр называется. Магазин там буду строить.

— Жалко!

Вася нашел в огороде старое бревнышко, вдвоем они распилили его на четыре равные части, топором Вася в каждой чурке вырубил гнездо.

— Под углы положим, чтобы сруб на земле не лежал, потом перенесем все хозяйство на фундамент,— пояснил Гулькин, закуривая для передыху папиросу.— Жарит, спасу нет! Африка.

Небо было слегка подернуто сизыми облаками. Они висели высоко и недвижно. Вдоль улицы местами стеклянно блестел свежий штакетник, трава тоже блестела, как вода, стояла тишина, и звуки разносились далеко. Где-то кто-то вколачивал гвозди в доски, меланхолично позванивало ботало на корове. По «Маяку» передавали новости дня. Из своего дома, отметил Павел Иванович, появился сосед Григорий Сотников. Белые штаны резко делили его тело на две половины. Отсюда казалось, что белые штаны несколько опережают все остальное. Сотников рассеянно потолкался у своей калитки, потом лицо его, медное от загара, туго повернулось направо. Сотников уловил движение в огороде учителя Зимина и обрел цель. Правду сказать, она у него каждое утро была — цель. Гриша Сотников по-хозяйски ступил на учительский двор, заглянул как бы мимоходом в летнюю кухню — попроведал самовар, а через минуту-другую сидел уже на табуретке за гороховой грядкой. Сочные его губы говорили о полном благополучии, о размеренной и добропорядочной жизни. Павел Иванович уже привык, что к этому человеку весьма таинственным образом стекалась информация со всех уголков мира, и он готов был поделиться своими новостями с каждым. Вася Гулькин посмотрел на гостя с полным отсутствием интереса, спросил, не отрешаясь от своих хлопот:

— Почему не на работе?

— Бюллетень у меня. Здоровье — дороже всего, — назидательно, как ребенку, объяснил Гриша прорабу.

— Один мой ученик, — вежливо поддержал разговор Павел Иванович, — написал в сочинении: «Чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу».

— Вот именно! — Грише Сотникову мысль ученика понравилась. — Дельно он это изложил. Молодежь нынче дотошная, не то что мы росли — в голоде да неприюте. Война...

— Шнур у тебя есть? — обратился Вася Гулькин к хозяину. — Шпагат, леска. Все равно.

— Найду.

— Тащи.

Когда Павел Иванович, запалаясь, вернулся, Гриша Сотников кончал рассказ:

— ...Такая история. Потерпел дед полное крушение. Да.

Вася Гулькин не смеялся, а история была смешная, потому что Сотников сотрясал тугой свой живот с выражением легкой обиды в глазах: единственный его слушатель, поворотясь спиной к нему, стучал топором. Появлению хозяина Гриша обрадовался донельзя:

— Такая, значит, обрисовка. Ты слушай, Паша!

— Слушаю.

— Паклин. Нил Васильевич. Карасиков-то не принес сегодня, ага?

— Действительно, не принес.

— И не принесет! Законно не принесет! — интриговал Сотников.

— И почему же?

— А вот почему. На зорьке он этта мордушки свои проверил, выгреб, что там было, к берегу на лодчонке-то причалил, начал хозяйство свое забирать, нагнулся, а боров тык его сзади, дед сусальником гальку и пробороздил. Пока вставал — ни борова, ни улова. Улов в мешочке был.

— Да-аа...

Вася Гулькин вдруг воткнул топор в дерево и повернулся к ним, скаля белые свои зубы: он смеялся, но, как выяснилось, по другому поводу.

— Это что! — Вася, уперев топор в лесину, рукой потирал грудь и качал головой, вспоминая. — Прошлой ночью борова того лейтенант из милиции стрелял. Как его фамилия, убей бог, не помню. Рыжий такой, рот у него еще не закрывается, вечно он полый у него.

— Стаська Жилин, — категорично определил с табуретки Григорий Сотников. — У них, у Жилиных, все полоротые. Даже дед был полоротый, я его хорошо помню.

— Пусть Жилин. Охотился он на борова вот тут где-то. — Вася показал топором в сторону усадьбы Нила Васильевича Паклина. — За старицей где-то.

— У него же и манера выработалась, у борова-то, — с долей удивления сказал опять Гришка Сотников. — Подкрадется и тык в задницу. Хитрый, разъязви его! А еще говорят, свинья глупая. Ничего она не глупая, очень даже шариками ворочает.

— Ночью, — продолжал Вася Гулькин. — Из оптической винтовки. Залег и ждет.

— Жилины еще «Запорожца» купили. Раскрашенная машина, майский жук, не машина. Экспортное исполнение. И кто их за границей покупает? Берег Слоновой Кости разве? — Гриша Сотников был из тех не в меру общительных товарищей, которые совершенно не умеют слушать.

— Увидел тень в кустах. И шевеленье некоторое. Прицелился — бац! А там совхозный бык оказался. Амур. Полторы тысячи рублей стоит. Племенной.

— Убил?! — напугался Павел Иванович не на шутку, отмахнувшись от Гриши Сотникова, который перекинулся уже на другую семью, известную своей потомственной безволосостью. Павел Иванович, как уже подчеркивалось, чувствовал косвенную вину в том, что жи-

вотное испытывает неопишуемые муки и на глазах превращается в зверя, грозящего здоровью и благополучию окружающих.

— Ухо пулей прорвал. Бык его ночью через весь бор прогнал. Свирепости он необычайной.

— Кто?

— Бык Амур.— Васе Гулькину было уже несмешно, потому как Сотников не дал ему живописать картину в красках. Вася решительно кивнул Павлу Ивановичу, приглашая работать, и сомкнул губы: делу, мол, время, потехе — час.

2

Последовала команда:

— Тащи черту.

Наступал тот вождеденный момент, которого Павел Иванович дожидался с терпением и безропотностью крепостного мужика.

Сперва, однако, следует рассказать несколько подробней, как ставится первый венец сруба. Ставится он так: на ровной площадке располагают конвертом четыре чурки с гнездами в них, на чурки, в гнезда, кладутся лесины на всю длину сруба и комлями в разные стороны. Гриша Сотников заявил, что лесины первого венца кладутся комлями обязательно в одну сторону. Вася Гулькин посоветовал Сотникову сидеть тихо и не мыкать. Гриша же не поленился сходить за Нилом Васильевичем Паклиным. Дед по первости поддержал Гришу — комли, дескать, обязательно предписывается класть в одну сторону, но после того, как заглянул с пучком лука в летнюю кухню, сильно засомневался. Раньше, вспомнил дед Паклин, комли вроде бы врозь клали, позже, в те незабвенные времена, когда он лично занимал ответственную должность в кредитном товариществе и ездил по деревням на жеребце по кличке Генерал, комли клали

вместе, то есть в одну сторону. Дед был вял и помят, кожа на его щеках напоминала кору дерева, поцарапанную гвоздем. Выходит, Сотников рассказал правду насчет приключения с боровом Рудольфом. Павел Иванович счел благоразумным не бередить свежую рану в душе Никола Васильевича и не поинтересовался подробностями. Дед сел на собственную кепку и, похоже, задремал. В груди его что-то похрустывало.

Вася Гулькин не умел сомневаться, он был заряжен на действие и назойливые советы Гриши Сотникова спокойно пропускал мимо ушей. Длинные бревна у комлей и вершин были надпилены, вырублены наполовину, то же самое было произведено с поперечинами, которые ровно и ладно улеглись в свои гнезда.

— Вот,— сказал Вася Гулькин, спятившись от сруба и шурясь.— Кое-что у нас получилось. Это называется срубить в замок. Первый венец всегда в замок рубится — для прочности.

— В охряпку называется,— вставил дед Паклин, очнувшись на короткое мгновение.— В охряпку.

— Точно! — Гриша Сотников кивнул ответственно и солидно, с таким видом, будто давал свидетельские показания.— В охряпку.— Грише, видимо, становилось скучно, и он прихлопнул ладошкой зевок. Из его глаз выкатились две слезы. Так падает вода с сосульки на весеннем припеке.— Пойду я. Обедать, наверно, пора.

— Иди, милый! — ласково посоветовал Сотникову Вася Гулькин.— Оголодал ты вовсе, брюхо у тебя к хребту приросло.

Гриша Сотников ничего не ответил, он шел степенно, ноги в белых туфлях опускал на землю четко, будто ставил печати на бумагах государственной важности.

— Неплохой в общем-то мужик,— сказал вслед Сотникову Вася Гулькин,— но себя любит пуще всех. Лишку не переработает. Как чуть чего, так бюллетень у него. Сейчас покос в разгаре, ему надо разворачиваться, на-

род организовывать и прочее такое, а он дома сычом сидит. Да на нем пахать в самый раз! — И через короткую паузу прораб опять дал команду: — Тащи черту!

При этих словах вскинулся дед Паклин, он размежил веки и сказал, нашаривая, как обычно, папиросы в карманах:

— Ты, Паша, мою черту бери, моей чертой еще отец пользовался, а ковал ее Демид Семипалов, покойный, буйная головушка. И-даа.— Нил Васильевич трудно разогнулся и, отрешенный от этого суетного мира, подался неизвестно куда. Он не забыл по пути заглянуть к самоварчику. Черная его кепка потом долго мельтешила сквозь штакетник.

Павел Иванович принес все три черты, имеющиеся у него в наличии. Вася Гулькин взял первую попавшуюся, кажется, свою, и опустил ее на карачки:

— Гляди, как дело делается. Как сруб шнуром размечать, ты понял?

— Понял.

— Теперь будем черту проводить. Так. Кладем на первый наш венец, срубленный, как ты тоже понял, в замок или охряпку, во-он то бревешко.— Вася поднялся с земли, отряхивая голые колени, и указал пальцем на облюбванное бревно.— Хватай. Так. Понесли. Так, опускай. Да пальцы уберни, отдавить можешь. Ага. Положили, значит. Теперь углы проверим.— Вася присел на колени и посмотрел, прицелившись, вдоль бревна.— Чуток подай свой конец, правой подай. Шибко занес. Левай маленько. Так. Порядок. Очертим углы.— Прораб наметил карандашом на углах ширину продольной лесины и легко, одной рукой, откатил ее в сторону. «Здоровый, черт!» — подумал Павел Иванович с одобрением и симпатией. Вася был невысок, но необычайно широк в крыльцах, на спине его, как у доброго коня, узлами катались мышцы. Гулькин заметил пристальный взгляд учителя и пояснил с кривой усмешкой, стесняясь чего-то:

— В армии штангой занимался маленько. Кое-что осталось. Так. Следующая операция — вырубание лунок. Рубить будем в угол. Местный термин, Павел Иванович. По науке это называется в обло с остатком.— Вася поплевал в ладони, взял топор.— Гляди, учитель!

Глядеть было приятно, потому что прораб Василий Тихонович Гулькин умел управляться топором, к тому же осина была мягкая и податливая, как репа. Белые щепки выделялись на черной земле. Так выделяется осенью первый снег. Жало топора слепяще отблескивало, и по огороду, по стене избы сплошно метался зайчик. Павлу Ивановичу захотелось тотчас же самому взять топор и поработать вдоволь, но Вася взглядом остановил его порыв:

— Смотри внимательно, успеешь еще наломаться. Заноси свою сторону.— Бревно легло в лунки. Вася опять упал на карачки и пригласил упасть на карачки Павла Ивановича. Между нижним и верхним бревнами просматривалась неровная щель. Сквозь щель Павел Иванович увидел обширный двор лаборатории геологов и казенные дачки вдали.

Вася Гулькин, сидя на табуретке, уже правил топор брусом.

Наконец, когда учитель Зимин устал ждать, по технологини понадобилась черта.

Действо не составляло особой тонкости: двузубую вилку (магазинный циркуль Вася отверг, небрежно его отбросил) следовало провести от комля до макушки бревна, по брюху его, с обеих сторон. Черта оставляла на сыром дереве борозды. Для пущей ясности учитель отметил борозды еще и химическим карандашом. На брюхе лесины, когда ее перевернули, протянулись две параллельные линии. Вася Гулькин быстро, точно, самым кончиком жала топора внутри линий нарубил елочку, потом выбрал канавку.

— Вот и все!

Щель между бревнами осталась, но узкая, толщиной в нитку, сквозь нее лишь полоской синело небо.

— Понял? Канавка, то есть паз, забивается паклей или мохом.

— Вроде бы понял.

— Цемента нет, жалко, а то сразу и фундамент поставить можно было. Дай бумажку, есть у тебя бумажка? Гляди: основание фундамента, то есть его подошву, сделать можно желобком, чтобы вода стекала сразу. А полы будут у тебя съемные: попарился, снял их и подсушил на улице. Ни у кого такой бани нет в селе, Павел Иванович. Понял? — Вася Гулькин быстро и привычно рисовал на бумажке чертежник. — Во! Красота. Давно хотел себе такую баню заделать, да все, понимаешь, руки не доходят.

Павел Иванович и Вася Гулькин сидели на бревешке спинами к срубу и курили.

— Цемента нет, — вздохнул Павел Иванович. — Где его взять, ума не приложу! Предлагал один...

— Кто предлагал?

— Да в городе, на базе. Жулик один.

— И ты не взял?

— Дорого — две сотни просил.

— Погодил бы ты маленько — и лес тебе будет любой, и все остальное будет. У нас ведь так: сегодня нет, завтра — кому бы отдать.

— Не могу я ждать, Василий Тихонович!

— Я тебе, между нами, могу выписать, например, цемента, так люди-то увидят, мы ж в деревне живем.

— В деревне...

— Увидят и скажут: а почему не мне, не нам, а какому-то городскому, приезшему да приبلудному? Правда ведь?

— Правда.

— И цемент у меня фондированный, выписывать на сторону я его могу только в исключительных случаях,

с разрешения начальства. Возьми, Павел Иванович, опять и Прасковью. Она тоже рисковала из-за тебя. Со- знательно рисковала, потому что вся деревня уже знает: дачник по фамилии Зимин получил то-то и то-то. Другие не получили. Другие в очереди стоят. Все сей- час строятся, Павел Иванович. Но Прасковья может иногда и против совести пойти.

— Почему может?

— У нее авторитет. И она тебя вдруг заважала. Кстати, почему она тебя заважала?

Павел Иванович смущенно пожал плечами.

— Нет, почему?

Павел Иванович вынужден был ответить:

— Она стихи любит, книжки у меня берет. Она нежная в самой сути своей.

— Вот уж не знал! А для меня стихов не найдется? Я что-нибудь забористое наизусть выучу, как начнет командовать, я ей стишок, она сразу и помягчает.

— Это идея! Есть у меня стихи, только от руки написанные, я тебе их из города привезу.— Павел Иванович одно время по просьбе горноно руководил литературным объединением на одном заводе. На первом же занятии Зимин растолковал молодым дарованиям, что литература — это, во-первых, талант и, во-вторых, лошадиная работа. Молодые дарования сразу исчезли с горизонта и кружок распался, потому что все признавали за собой талант и никто не хотел работать. У руководителя объединения в память о неудачном дебюте осталось несколько тетрадей глупых и душещипательных виршей. «Как раз для Прасковьи! — подумал Павел Иванович и тут же засомневался, — а правильно я делаю, дурной вкус ей прививаю?» Вслух же он сказал:

— Только один уговор.

— Какой будет у нас уговор?

— Тетрадка, которую я дам тебе, не должна попасть в руки Прасковье.

— Я ее на работе держать буду. Вот ведь и не подзревал, что Прасковьюшка-то моя до стихов жадная. Бывает же! А то наблюдаю, во взгляде у нее тоска появилась, ночами носом швыркает, вздыхает, я ее уж и допрашивал, не случилось ли чего, может, недостача в рабкоопе? Отмахивается. Беда с бабами! Так вот что еще, Павел Иванович. Завтра я с машиной буду в городе, дела у меня есть кое-какие. Со мной будут два грузчика. Усек?

— Нет пока.

— Усекай. Ты ждешь меня возле этой самой базы часиков этак в девять утра, ловим твоего прохиндея за хвост и берем у него что надо, коли уж терпежу у тебя нет никакого, грузим и везем тихонько домой. Меня он не обведет, твой продавец. По рукам? Жалко мне тебя почему-то, Паша! Ты какой-то нездешний.— Вася Гулькин протянул Зимину крепкую свою ладонь с растопыренными пальцами. Павел Иванович подал свою руку, вялую и потную.— Жалко мне тебя, Паша, честное слово! — добавил Гулькин и вздохнул.

У ворот торговой базы, как и в прошлый раз, Павла Ивановича подждал юркий тип в пестром пиджаке. Для начала тип попросил закурить. Было, как и тогда, в первый раз, жарко.

— Чичас само то,— сказал тип и цыкнул слюной сквозь редкие зубы под ноги Павлу Ивановичу.— Чичас само то — на бережку лежать, чтоб прохлада и всяко тако, а?

— Да, жарко.

Тип снял соломенное канотье и вытер обширную лысину несвежим платком. Лысина, как и в прошлый раз, была неприятно серая, будто кусок истаявшего льда, и усеяна потом.

— Чичас само то— на бережку. В прошлом годе я в Крыму был, на море. Крым — не Нарым. Публика богатая.

— Вы уже рассказывали про Крым,— сказал Павел Иванович и брезгливо отодвинулся.

— Может быть,— задумчиво ответил человек в пестром пиджаке и опять цыкнул сквозь редкие зубы.— Материал какой нужен?

Павел Иванович беспокойно смотрел на дорогу — искал на дороге Васю Гулькина с машиной, а Васи все не было, Павлу Ивановичу становилось тоскливо, и тут, к счастью, шагах в десяти остановился запыленный грузовик, из кабины прытко выскочил Гулькин и пошел к ним, широко улыбаясь.

— Кто это еще? — шепотом осведомился клетчатый пиджак и засучил ногами.

Вася Гулькин сказал с ходу:

— Цемента три мешка, кирпича — штук пятьсот, пакли килограмм двадцать и кое-что по мелочи. Садись, по дороге договоримся. Далеко ехать-то?

— Рядышком. Полторы косых.

— Чего?! — Гулькин медленно поднес коротышке в клетчатом пиджаке кукиш.— Семьдесят рублей хватит. Паша, давай деньги!

Павел Иванович отсчитал семьдесят рублей десятками и сунул их Гулькину в верхний карман пиджака, Вася же сгреб ярыжку за плечо и потащил к машине. Павел Иванович видел, что они с Васей, сидя в кабине, скалились и хлопали друг дружку по спине. Гулькин помахал из кабины учителю Зимину, прощаясь.

Павел Иванович стоял долго еще и долго думал о том, чего же ему не хватает? Наконец, додумался: клетчатый человек не успел рассказать ему про Крым и про москвича, у которого все надувное: палатка, игрушки, матрац и даже женщина у него была, похоже, надувная.

— Интересно, весьма и весьма интересно! — повторял про себя Павел Иванович, приближаясь к трамвайной остановке. Он искал в себе чувство раскаяния или стыда, но, к удивлению своему, не находил ни того, ни другого. Он был странно спокоен.

Глава одиннадцатая

1

Павел Иванович Зимин не умел нажимать красную кнопку, он никак не мог дотянуться до нее даже во сне, но работать, отдадим ему должное, он умел, когда им руководила страсть. Только страстным людям дано совершать чудеса, делать открытия и сотрясать историю. Павел Иванович Зимин не дерзал и для роли сотрясателя был слишком застенчив. Он рубил баню. Рубил один, не имея ни опыта, ни квалификации, а это, согласитесь, тоже сродни подвигу.

Учителю Зимину теперь казалось, что дни даже в разгаре лета слишком короткие и что до конца отпуска он не сумеет благополучно завершить начатое.

Солнце поднималось утром багровое и круглое. С помидорных кустов падала роса. Трава была влажная, на ней оставались темные следы ног. Тонко и печально пахло крапивой. Вечером опять влажнела трава и опять, едва различимый, накатывал запах крапивы. Солнце садилось за горы с раздумчивой медлительностью, становилось прохладно. Темнело здесь быстро, звезды были высоки и напоминали синий снег, который все никак не может упасть на землю...

Гулькин подал о себе знать лишь через три дня: от него прибежала девчушка, принесла в конверте деньги и записку. Гулькин сообщал: «Паша, ты невезучий, де-

ло у нас не сладилось, на склад, куда мы приехали (это не шибко далеко от базы), в аккурат нагрянула то ли комиссия, то ли ревизия. Договорились с тем мужичком повернуть операцию через неделю, когда все утихнет. Подробности — при встрече».

Павел Иванович, конечно, расстроился, но не очень, рассудивши, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Он продолжал работать топором.

...К срубу в огороде в то утро Павел Иванович вышел рано. Пастух только собирал по дворам коров, щелкал бичом и заунывно матерился. Коровы собирались вяло, будто на собрание. Ясно было слышно, как в пустые подойники ударяются струйки молока, как сонно и несердито разговаривают хозяйки. Из печных труб засочился повсюду фиолетовый дым. Запахи были остры и разнообразны. Подбрюшье облаков на вершине неба окрасилось пламенем тончайших оттенков — от кровавого до бледно-желтого. Жить было хорошо. Павлу Ивановичу нравилось просыпаться рано и наблюдать, как мир вставал ото сна, как просыпалось вместе с солнцем все живое.

Девчушка от Гулькина прибежала часов в восемь, чуть позже, следом появился дед Паклин и, не заглянув по обычаю в летнюю кухню, сел неподалеку от Павла Ивановича на табуретку. Чашку с карасиками он поставил на землю, поздоровался и замолчал. Поведение деда было нестандартным, и Павел Иванович спросил озабоченно:

— Или заболел, Нил Васильевич?

— Почто, поди, заболел-то? Ничего не заболел. Ты работай, Паша, я туточка малость посижу.

— Ради бога!

Павел Иванович замечал моментами, что дед вытягивает шею, приподнимается на табуретке и кого-то упорно высматривает, он оживился, когда калитку открыл Гриша Сотников и шагнул было уже на ступень-

ку летней кухни, но был остановлен Паклиным. Нил Васильевич каркнул вороном, и Гриша вздрогнул, переменяв направление.

— Здоровы были.

— Здравствуй, Гришка. А я тебя дожидаюсь.

— Чего это ты меня дожидаешься, папаша?

— Хочу вот при Павле покаяться и сказать, что мы с тобой бессовестные.

— Это как же?

— А так. Присосались, понимаешь, к этому самовару, с утра до вечера, понимаешь, сыты, пьяны и нос в табаке. Человек,— дед Паклин поворотился вместе с табуреткой, указал кулаком на Павла Ивановича,— горбатится и нас с тобой поит. За что он поит, ответь мне? Ты зачем самовар к нему перенес? Ульки своей боишься, жены боишься? А у него,— дед снова показал кулаком на Павла Ивановича,— разве нет жены? У него тоже есть жена!

— И у него есть жена,— согласился Гриша Сотников, моргая.

— Он-то сам терезвый гражданин, а нас поит, потому что вежливый, ученый, он ничего не говорит, но дожидается с терпением, когда же нас с тобой укор возьмет, когда мы с тобой глаза разуем и поглядим на себя со стороны, подивимся, каковы мы есть с тобой.

— Ты чего с утра завелся-то?

— Ничего я не завелся, Гришка, я правду говорю. Или, значить, забирай свою машину, или, значить, дай Паше нагнать положенное количество питья, чтобы он людей на помочь позвал и не надсажался в одиночестве. Ты вон кобель здоровый какой, а бревешка ему не подкатил ни разу. Что он о нас подумает, о деревенских-то мужиках? Прощелыги мы, дерьмо в человечьем платье?

На этот вопрос Гриша Сотников ничего не ответил, лишь пожал плечами, заметно краснея.

— Да будет вам, товарищи!

— Ты, Паша, молчи. Понял мою установку, Гришка?

— Как не понять...

— Седни же на паях купим сахару и возместим убыток, вот ведь как.

— Я об этом думал уже.

— Плохо думал. Айда отседова, не будем мешать человеку. Я специально тебя дожидался.

Гриша Сотников все-таки заглянул в летнюю кухню, вынырнул оттуда багровый, он вытирал рот платком и клонил очи долу. Дед Паклин погрозил ему кулаком с улицы.

Агрегат Сотникова, белый самовар, беспокоил и смущал Павла Ивановича, потому как жена Соня на дню по нескольку раз останавливалась посреди двора и принюхивалась, морщась, потом говорила:

— Павел, отчего это у нас сивухой пахнет?

— Это силос так пахнет,— печальным голосом отвечал Павел Иванович и отворачивал лицо.

Рано или поздно Соня должна была догадаться, откуда и почему пахнет сивухой: по специальности она была химиком, преподавала этот предмет в институте и силос от самогона отличать все-таки умела.

Павел Иванович ужинал в одиночестве. Семья его давно простила, но он даже не замечал, что жена и дочь даже жалеют его, как жалеют безнадежно больных.

Однажды, это было днем, близко к обеду, учитель Зимин вдруг очнулся и со звенящей ясностью почувствовал, что планета наша крутится по-прежнему, не сбавляя скорости, жизнь катится во всем разнообразии и по своим категориям. Павлу Ивановичу захотелось общаться. И тут как раз случилось счастливое событие: ко двору подкатил голубой «Беларусь», тележка которого была доверху нагружена всяким добром. Из кабины трак-

тора вылез тощий парень с грачиными глазами и в солдатской гимнастерке. Парень неуверенно ступил во двор. Глядел он куда-то мимо Павла Ивановича, дожидаясь еще кого-то.

— Я тут привез,— сказал парень, подозрительно осматривая хозяина,— по указанию Прасковьи Семеновны...

Павел Иванович долго соображал, о чем идет речь. Он припоминал, что вроде бы видел этого тракториста и что тракторист должен обратиться именно к нему, к Зимину, а вот по какому поводу он должен обратиться, учитель запомнил напроочь.

Тракторист тем временем медленно узнавал Зимина и приобретал нагловатую уверенность.

— Материал тебе привез!

— Какой, извините, материал?

— Ты спишь? Или пьяный ты? Твой материал. Шифер. Это... плахи.

— Спасибо,— на всякий случай сказал Павел Иванович в полной уверенности, что произошла какая-то ошибка.— Материал, значит?

— Я на профилактике стоял. Долго стоял, задний мост меняли. Больше недели стоял. Не мог я раньше. Мне некогда, давай выгружать. И так полдня на тебя убил.

— То есть как на меня убили!— И тут до Павла Ивановича, наконец, докатило, что этот парень, кажется, Валерий, хлопочет ради него.

— Я мигом!— возликовал учитель и побежал в летнюю кухню за брюками.

— Мне некогда!

Сперва учитель Зимин трудился вдвоем с трактористом, потом к ним робко присоединилась жена Соня и позже — дочь Галина.

Все!

Тракторист Валерка беретом обил пыль с колен и пошел заводить свой трактор «Беларусь». Павел Иванович, спохватившись, засеменял следом. В кулаке он сжимал новенькую пятерку. Для него рассчитываться за услуги всегда было мучительно — он всегда переплачивал: там, где надо было, допустим, сунуть рубль, он давал трояк, где полагалась пятерка, он платил целых десять рублей. Павел Иванович панически боялся недоплатить, и когда недоплачивал (случалось и такое), казнил себя со всей жестокостью интеллигента.

Учитель догнал Валерку и, краснея, протянул тому пятерку к самому носу. Тракторист отпрянул и пришибленно огляделся.

— Не велела брать! — Валерка уныло вздохнул.

— Кто?

— Известно, Прасковьюшка! Узнаю, говорит, что деньги с товарища взял, шею намылю, — Валерка засопел и отвернулся. — Да и многовато даете, трояка хватит.

— Нет у меня трех рублей, все деньги наличные пятерками.

— Пива хочется...

— Возьмешь меня?

— Куда это?

— В кабину. Я тоже пива выпить не прочь бы.

— Запросто. Садись.

Пиво уже расхватали, и ситуация сложилась, можно сказать, безнадежная.

Павел Иванович на всякий случай осведомился у буфетчицы, пожилой и толстой, не завалилась ли у нее случаем пара-другая бутылочек, но тетка сказала, что ничего у нее не завалилось.

Тракторист Валерка безропотно отступил от стойки и, спустившись с крыльца, пристроился к какой-то ком-

пани. Через открытую дверь Павел Иванович видел, как он, запрокинув голову, уже пьет, как вытирает рот полой рубахи и не спеша идет к своему трактору. Павел Иванович тоже подался прочь, обескураженный, и тут столкнулся с Васей Гулькиным и так обрадовался ему, что обнял за плечи.

— Не дает? — Вася белозубо улыбнулся и кивнул на буфет.

— Не дает. Сердитая.

— Она всегда сердитая, Мария! — властно позвал Гулькин. — Мария!

Буфетчица отодвинула занавеску и показала за стеклом свое дебелое восковое лицо. Вася поднял три растопыренных пальца.

— Хватит нам три? Я одну выпью, ты — две.

— Хватит.

Вася заказал обед и унес тарелки в дальний угол. Там на чистом столике стояли уже три бутылки пива, потные и холодные на ощупь. Фирма Гулькина работала четко.

— Как дела у тебя, Павел Иванович?

— Четыре венца поставил.

— Темпы сносные.

— Ты почему в столовой обедаешь?

— Прасковья в районе на каком-то семинаре. Скоро она, наверно, на три месяца уедет, на курсы.

— Жалко...

— Теща болеет, а я, ты знаешь, на дальнем участке магазин строю, иной раз и домой забежать некогда. Четыре венца, говоришь?

— Четыре.

— Еще венца на четыре тебе леса хватит, потом я вот освобожусь маленько, остальное подвезем. Есть у меня лес, хороший лес. Евлампий не появлялся? Нет? Ну, понятно. Он ничего мужик, но совсем бесхарактерный. Теперь насчет материала. Не выкатилось у нас с

Чуркиным. На среду договорились. Забегу к тебе во вторник вечером, все обтолкуем.

— Хорошо.

— А я, Павел Иванович, для Прасковьи стишок выучил. Про собаку. Самое то, что нужно — жалостливое. Прасковья эти дни ласковая, все мне случая не представляет продекламировать. — Вася поднял руку над головой, насупился и по-эстраднему, с подвывом, сказал стихи:

...Не ведал хозяин, что где-то
По шпалам, из сил выбиваясь,
За красным мелькающим светом
Собака бежит, задыхаясь.

Споткнувшись, кидается снова,
В кровь лапы о камни разбиты,
Что выпрыгнуть сердце готово
Наружу из пасти открытой.

— Эвона как! Получается у меня, Павел Иванович?

— Очень даже получается, молодец. И собака, если не ошибаюсь, погибает?

— Погибает.

— Это то, что нужно, Василий.

Через широкое окно, пронизанное солнцем, Павел Иванович видел, как тракторист Валерка по зову двух мужиков вылез из кабины, поддернул штаны, заговорил о чем-то, кругло шевеля губами, потом указал вытянутой рукой на столовую. Учитель сразу почувствовал, что разговор идет о нем, и сердце его томительно сжалось: он твердо и сразу уверовал, что эти двое интересуются им неспроста.

Двое, один маленький и толстый, второй длинный и худой, пересекли поляну, застыли на пороге столовой, черные в светлом проеме дверей, как монахи, и сурово двигались к их столику. Гулькин поднял голову.

— Здорово, ребята. Вы чего?

— Присесть можно? — спросил длинный со щучьим лицом и белыми ядреными зубами. Учитель Зимин нехотая подумал, что, наверно, этот человек любит глотать бараньи кости.

— Присаживайтесь, — Гулькин пожал плечами и потянулся к стакану со сметаной, — может, пивка вам сообразить?

— Сообрази, если можешь, — ответил длинный трубным низким голосом. Он сел слева от Павла Ивановича, толстый сел справа и положил на стол руки, похожие на олады. Руки были нежно подернуты белым волосом. Зимин не поднимал головы от стола, сжавшись. Вася Гулькин щелкнул пальцами и показал буфетчице растопыренную ладонь: требовалось еще пять бутылок.

— Мы вот за ним пришли, — длинный кивнул в сторону учителя, — мы его счас в милицию поволокем. Простое дело.

— Его?! — удивился Гулькин, поперхнувшись сметаной, — за что?

— Он наш лес свистнул.

— Позвольте! — сказал Павел Иванович фальцетом и начал медленно подниматься над столом. Слева тяжело задышал толстый. Тонкий начал подниматься, косясь на учителя круглым, как у ворона, глазом. Назревала рукопашная. В такой ситуации кому-то надо обязательно разнимать, растаскивать, но толстый сопел, не шевелясь, Гулькин же заходился смехом, и по его щекам щедро катились слезы.

— Я не таких ломал! — заявил длинный, дыхнув табаком и луком. — Привыкли там, в городе, хапать что плохо лежит. Тут у нас другие порядки.

— Да будет тебе, Феофан, — робко и едва слышно промямлил толстый. — Сперва бы разобраться нам...

— Ты молчи, Ванька!

— Разобраться бы...

— Молчи, Ванька! Я его сейчас поломаю. Простое дело.

— Попробуйте! — опять фальцетом сказал Павел Иванович и украдкой оглядел зал. Народу мало. Значит, не так позорно будет падать. У длинного были мохлястые кулаки внушительных размеров, и учитель предвидел трезво, что ему не устоять. — Не воровал я вашего леса!

— Как это не воровал, мы же на усадьбе у тебя были. Из чего баню рубишь?!

— Позвольте! — заметил Павел Иванович, он начал уже по-настоящему заводиться, и взор его застлал красный туман.

— Привыкли, понимаешь, в городе там...

Положение спасла буфетчица — она, семена, подкатила к столу с подносом, на котором стояли бутылки с пивом, и, конечно, сразу обратила внимание на верзилу, имевшего весьма грозный вид. Буфетчица удивилась, всплеснув руками:

— Ты чего это, Фанька, раскрылился, будто кочет? Или пьяный?

— Ничего я не пьяный, — буркнул Феофан и неохотно сел. Дышал он запалисто, и на острых его скулах завязались желваки. Толстый вздыхал и елозил, задевая учителя локтем. Павел Иванович тоже присел, колени его тряслись, во рту было сухо.

Гулькин, наконец, просмеялся и затряс головой:

— Ты, Феофан, извинись перед человеком.

— Еще чего не хватало! — Верзила опять было заподнимался. — Да я его поломаю сейчас! Простое дело.

— Я те поломаю! — Гулькин взял длинного за плечо и усадил, не напрягаясь, с такой силой, что ясно был слышен сухой звук, с каким казенное место припечаталось к стулу. — Сиди! Ну, Паша, с тобой не соскучишься! Я тебе, Феофан, объясню по порядку, не пускай пузыри, пей вон пиво, пока холодное. — Вася Гулькина

вмиг, со смешком, обрисовал ситуацию. Концы сошлись с концами: Евлаша Синельников закрутил карусель, на нем и вина.

— А это,— прораб показал на Зимина вскользь,— культурный человек. Зачем, Феофан, ему твои дрова?

— Я Евлампия поломаю! Паразит.

— Вы его извините.— Толстый интимно наклонился к уху Павла Ивановича.— Он завсегда так: сперва, значит, наскандалит, посла уж разбираться зачет. С детства горячий. Он брат мой сродный. И добрый, вообще-то.

— На дрова валили? — спросил Гулькин.

— На дрова,— ответил толстый и обреченно поморгал голубыми глазами,— на две семьи валили. Мы завсегда с Фанькой вместе. Теперь как быть — ума не приложу? Транспорта не достать, лошади все в разгоне, трактора тоже. А на машине не шибко подъедешь — сыро там, в осиннике.

— Мои дрова возьмете. На лесопилке. И трактор я вам ненадолго дам,— сказал Гулькин, вытирая веселые глаза платком.— За погрузку вон Павел Иванович заплатит. Как, Павел Иванович?

— А сколько?

— Червонец, поди, хватит.

— Сами погрузим, не надо денег,— твердо сказал длинный Феофан,— а Евлампия я поломаю.

— Сейчас, ребята, я вам записку напишу на лесопилку.— Гулькин вырвал из блокнота листок и написал записку. Листок, аккуратно перегнув посередке, спрятал в верхний карман пиджака толстый Иван.

Мужики допили пиво, выложили на стол рубль с мелочью и удалились гуськом: Феофан впереди, Иван несколько сзади.

— С тобой, Паша, не соскучишься! — повторил Гулькин.— И ведь мог побить Феофан-то, у него нервы не в порядке. И чего только в жизни не бывает...

— Да-а... Спасибо тебе душевное, Василий Тихонович!

— Не за что.

— А как же с лесом-то быть?

— Твой вывезем. Не беспокойся.

В бору на обратной дороге Павел Иванович почувствовал, что ноги его мягко подгибаются, а в ушах появился нескончаемый шорох. Это была усталость. Учитель свернул с тропинки и повалился спиной на траву, представив, что лицо его окунулось в самую глубину синего неба. Окунулось как в ручей. Павел Иванович сунул руки под затылок и погрузился в сон. Он увидел во сне, что переплывает реку Волгу, что плыть ему далеко и ориентир он держит на баню, стоящую у высокой сосны. Баня веселая, с петушком на крыше и покрашена в розовый цвет. Павел Иванович задыхается, гребет усталыми руками с безнадежностью и ужасом, потому что его преследует тощий Феофан, за тощим Феофаном близко держится сродный его брат Иван, он отфыркивается, как морское животное, и сильно кричит всякие нехорошие слова; в основном же грозитя догнать и учинить расправу. Павел Иванович судорожно гребет и думает с удивлением: «Иван-то чего взбеленился, ведь смиренный в повседневности мужик?».

— Он лес ворует! — кричит Иван на всю реку, и голос его щедро разносит эхо.

«Все будут знать, что я чужой осинник вывез!» — горько думает Павел Иванович и начинает захватывать ртом воду. Он устал. Дыхание его на пределе.

Берег близко. Возле бани Павел Иванович явственно видит заместителя управляющего Григория Силыча, обряженного странно — тот в новых лаптях и с лукошком. Григорий Силыч манит рукой и протягивает на встречу веник.

— Господи! — сказал учитель и проснулся.

«Феофан все-таки не догнал! — порадовался Павел Иванович.— Не догнал!».

2

Павел Иванович рубил баню и напевал песенку:

Аты-баты,
Шли солдаты...

Жизнь обрела железный ритм, и ничто не способно было выбить учителя словесности Зимина из колен. События другого измерения, не имеющие касательства к бане, воспринимались примерно так же, как, допустим, весть по радио о засухе в Австралии. Единственный случай за описываемый период несколько испортил настроение, но Павел Иванович с огорчением быстро справился. В те самые блаженные часы, когда он спал в бору, на усадьбу к нему нагрянул Евлампий, с топором, сказав домашним, что пришел подмогнуть. Сруб Евлампию не понравился («Пашка, он у вас совсем косо-рукий!»), и он раскидал бревна по огороду, как бешеный слон. Жена Соня отогнала бедового помощника от сруба метлой, однако тот успел чудом, походя, выворотить дверь летней кухни («Кривая и на соплях висит») и исчез, стеноя по поводу Сониной грубости.

Что еще?

Боров Рудольф по-прежнему коварствовал, дед Паклин ловил на старице рыбешку, навевывался, советовал, что и как по линии бани, Григорий Сотников заряжал самовар суслом, исправно докладыввал Павлу Ивановичу, сколько накапало, и обещал приложить все усилия и всю свою недюжинную эрудицию, опыт и умение, чтобы в самый короткий срок обеспечить Зимина горючим на случай, если тот станет звать улицу на помощь.

— Гриша, может, ты заберешь это чудо от греха по-
дальше, сопит ночью, спать не дает!

— Потерпи. Немножко терпеть осталось. Унесу, по-
том в очереди будешь стоять, охотников на него вагон.

— А он не взорвется однажды?

— У него реле, будь спок.

Григорий по-прежнему щедро делился информацией. Он сообщил, например, что директор фабрики Степан Степанович уехал отдыхать на юг с женой, что директор школы Роман Романович возвращен из отпуска приказом районо, что учитель музыки ударил Евлампия по щеке при скоплении детей за порчу заморского аккордеона, что милиционер, у которого не закрывается рот, понес административное наказание за выстрел из оптической винтовки в племенного быка Амура, имеющего бронзовую медаль областной сельхозвыставки. Сотников был достоверно осведомлен также, что в Башкирии со строительными материалами тоже положение обстоит сносно.

Павел Иванович гордился собой, своей сноровкой, упрямством и волей. Он тысячный раз представлял себе, как в городе однажды позвонит своим знакомым и небрежно скажет: если не возражаете, то в мою банешку слетать можно, на электричке (полчаса езды, плюс пятнадцать минут пешком), или на машине (это ровно час), никто там мешать не будет и места хватит всем. Свежих веников — завались, пивка по дороге в столовой прикупим. Такое, значит, положение. Друзья-приятели, конечно же, изумятся, а Григорий Силыч мелодично завистит носом (он умеет свистеть даже приятно) и подаст руку: «Сдаюсь, гуманитарий! Ты доказал свое». Павел Иванович уже наметил себе отвечать с возможной небрежностью в том духе, что мы, мол, способны на кое-что и посерьезней, а баня — это так, играючи и мимоходом. Есть, само собой, некоторые тонкости, постичь эти тонкости дано, может быть, и не всякому, но для

человека, мыслящего широко, такая задача — семечки. Мы же мужчины все-таки!

На разные лады обдумывал диалог с банными приятелями Павел Иванович, и на душе его было отрадно: он верил в успех, верил, что однажды затопит свою баню и в тот час будет по-настоящему счастлив. Кроме того, Павел Иванович, настроенный философски, прощал всех, в том числе и предателя Евлампия. Не имел Зимин никакого зла и на грубого крестьянина Феофана, который устроил в столовой скандал, обещав применить физическую силу, и во всеуслышанье назвал Зимина жуликом. И Феофана этого можно понять — ему без дров зимой никак нельзя.

Учитель Зимин завершал на срубе шестой венец и был озабочен долгим отсутствием прораба Васи Гулькина. Вася заходил, как договаривались вечером, взял деньги для сделки с клетчатым Чуркиным и пропал. Павел Иванович тревожился за Васю, опасался, как бы тот не влип в какую-нибудь историю. Кончался лес. И потом, без Васи нельзя было браться за фундамент, задуманный хитро, со скатами и, как писалось уже, со съёмными полами. «Попарился, полы снял, вынес на ветерок и подсушил. Такая баня сто лет простоят. Тебе, Павел Иванович, детям твоим и внукам твоим хватит».

Печься насчет внуков сорокалетнему Зимину было, пожалуй, рановато, но сама идея Гулькина пришлась ему по душе, потому как бани с таким устройством, по заверениям прораба, не было ни у кого.

Итак, шестой венец. Всего их должно было быть десять-одиннадцать. Потом сруб переносился на фундамент, нахлобучивалась на него крыша, и тогда наступала очередь внутренней отделки. К концу отпуска самое трудоемкое останется позади, а дальше будет видно.

Второй день, замечал Павел Иванович, неподалеку от лаборатории геологов, напротив, по поляне ходят коротконогий мужичок с теодолитом и дочерна загорелая девица в трусиках, бюстгалтере и легкой косынке. Девица таскала полосатую палку, коротконогий мужичок направлял теодолит в сторону сруба, и Павлу Ивановичу становилось как-то неловко от того, что его рассматривают через увеличительное стекло. Иногда в теодолит заглядывала девица, загораживая ладонями щеки, и чему-то смеялась. Спина у нее была длинная и заметно вогнутая внутрь.

После обеда как-то во двор к Павлу Ивановичу беззастенчиво, даже не поздоровавшись, ввалилась со своей пестрой палкой та самая девица с вогнутой спиной и встала возле летней кухни. Мужик с другой стороны наставил свою трубу и командовал руками, показывая—левой держать палку или правой.

Павел Иванович сел на бревно верхом и сказал девице подчеркнуто вежливо, с тонким намеком:

— Здравствуйте, уважаемая.

Непрощеная гостья посмотрела на хозяина почему-то враждебно и лишь пожала плечами.

— Вы что здесь вымеряете? Через мой двор, может, железнодорожная магистраль протянется? БАМ, Турксиб?

Девица стыло замерла с палкой наотлет, и Павел Иванович видел, как она моргает крашеными ресницами.

Через забор медведем перелазил мужик с теодолитом.

Павел Иванович, почуяв неладное в пренебрежительном молчании девицы, слез со сруба и шагнул навстречу мужчине. А тот деловито шагал по грядкам, приминая сапожищами цветы, огуречные лунки и помидорные кусты, взлелеянные женой Соней.

— Вы бы поосторожней ходили здесь, эй, товарищ!—

крикнул Павел Иванович. Крикнул, хотя мужичок был шагах в пяти от него и раскорячивался посреди огорода со своей треногой.— Я говорю, поосторожней, не в кабаки явились.— Сзади кудахтали девица — смеялась. Оскорбительно смеялась. Павел Иванович почувствовал на щеках жар и покалывание в мочках ушей.— Вы меня слышите или нет?

Мужчина лениво оторвался от забора и соизволил поднять голову. Он был свирепо раскосый, глаза его сбегались к переносью и фокусировались в некоей точке, лежащей где-то выше головы Павла Ивановича. То обстоятельство, что мужичок по причине косоглазия не смотрел в лицо, а куда-то мимо, оскорбило Павла Ивановича пуще всего.

— Марш отсюда! — фальцетом заорал учитель и лишь сию секунду ощутил в своей руке теплое топориче.

— С какой это стати? — пропел косоглазый.

— Вы хам! Марш! — Учитель взмахнул топором, намереваясь запустить его в голову прищельца. Зимин олицетворял собой в ту минуту самую решимость, и незванный гость дрогнул, спятился от треноги, побежал, похожий на черного жука, потому что ноги его были коротки и кривы в коленях. Под его сапожищами бухала земля. На заднюю убегающего было ясно заметно желтое пятно, след сырой глины, и Павел Иванович целился именно в этот круг, как в мишень. Целился хладнокровно. Над штакетником уже торчали ноги геодезиста, он переваливался на другую его сторону, зацепившись голенищами сапог, и висел, дергаясь. Топор, блеснув лезвием, ударился о нижнюю пряслицу, отскочил от нее и упал в траву. Павел Иванович кинулся искать топор, потому что жертва стремительно удалялась в сторону геологической лаборатории. Удалялась она в одном сапоге. На левой ноге геодезиста моталась байковая портянка.

Пока Зимин, царапая руками о малинник, искал топор, девица успела схватить треногу и уволокла ее через калитку. Раскосый мужичок уже мотал портянку, сидя на тротуарчике, и кричал женским голосом. Он заикался от гнева и обиды:

— Кобель цепной! Я сам, што ль. На кой мне твой огород исдался? Твой дом под снос определен. Слышишь меня? Ты мне ништо за те штучки заплатишь. Иди в сельсовет, там тебе все скажут. И сапог отдай.

Павел Иванович брезгливо сдернул со штакетника разношенный сапог и запустил его, не глядя, во двор геологической лаборатории. Краем глаза он видел, как мужик, по-птичьи встряхиваясь всем телом, прыгает к сапогу.

— Я с ружьем приду!

— Хоть с пушкой! — крикнул в ответ Зимин и вяло махнул рукой, уже задавленный самоанализом.

Глава двенадцатая

1

Самоанализ Зимина сводился вот к какой мысли: наглость всегда должна быть наказуемой, но почему, если честно, он, Павел Иванович, взорвался, почему готов был на смертоубийство с применением тяжелого предмета? Потому взорвался, опять же если честно, что некий злоумышленник или просто невежливый гражданин каким-то боком покусился на собственность. Павел Иванович теперь шкурой чувствовал неистовость и бескомпромиссность классовых схваток времен коллективизации. Перенесемся мысленно, сказал себе учитель, в двадцатые и тридцатые годы нашего столетия. Перенесемся и представим, что группа сельских активистов из комбеда явилась в один прекрасный день отбирать

у Павла Ивановича сруб. Баню твою, заявили бы активисты, конфискуем на том основании, что она самая большая в деревне, а семья у тебя — всего три человека. «Кинулся бы я на активистов с топором?» — задал себе вопрос учитель Зимин. Задал себе такой вопрос и не смог на него ответить с достаточной твердостью. Многие бы, конечно, зависело от обстоятельств...

Так размышлял Павел Иванович по пути в сельсовет. Он спешил туда, чтобы развеять сомнения и восстановить справедливость. Он был погружен в невеселые свои размышления до тех пор, пока не был окликнут Григорием Сотниковым. Григорий стоял в проеме растворенной калитки, за его спиной возвышался, соломенно отблескивая, добрый дом, обшитый паркетной досочкой.

— В сельсовет бежишь? — Григорий щурился и закрывал ладошкой глаза от света, бьющего ему в лицо. Он уже все знал своим неисповедимым способом.

— Туда.

— Геологи два года земли просят, им расширяться надо.

— А я тут при чем?

— Твоя избенка заколоченная стояла, старуха ее продать не могла, все продешевить боялась. Геологам-то отказывали, теперь бумагу кто-то в области и полмахнул.

Сердце Павла Ивановича упало, покатилося, как валун с горы. Катилось и падало оно долго.

— И что теперь?

— Судиться будешь, не иначе.

— Я буду судиться, а они тем временем начнут строить, так?

— Пожалуй, что и так.— Григорию разговаривать было уже неинтересно, он зевнул нежно, с истомным подвывом, и по тугой его щеке покатилась слеза.— Сходи, чего они там тебе скажут?

Председатель сельского Совета, пожилая женщина с черным пушком на верхней губе, курящая, с остатками, как принято выражаться, былой красоты, встретила Павла Ивановича шумно. Учитель твердо уверился, что председательша когда-то обязательно участвовала в самодеятельности и любимой ее песней была «Синенький скромный платочек».

— Подкузьмили они нас, язви их в душу! Садитесь. У Вас с фильтром сигареты? Угостите, мне еще с утра «Прима» попалась, в горле першит.

— Кто подкузьмил?

— Геологи. Ну, и настырные ребята! Два года письма строчат: по производственной необходимости просим и так далее. Мы им тут на сессиях не раз отказывали. Они — в область. Там, видишь, подписано. Но мы, как зовут-то вас? Павел Иванович. Но мы, Павел Иванович, еще бороться будем, облизполком — не последняя инстанция. Место наше заповедное. Не на тех нарвались, язви их-то!

— А я как же?

— Вы? Вам потесниться придется, усадьбу у вас обрежем. Дом останется, усадьбуотрежем. За огород, за урожай то есть, они заплатят. По государственной цене. Дом не тронут. А усадьбу мы вам в другом месте вырешим. Хорошее место дадим, не волнуйтесь. Но мы еще повоюем. Вы, слышала, там уже топором размахались, в милицию на вас написали.

— Пусть пишут. Вести надо себя по-людски...

— Правильно. Но топор есть топор, оружие смертоносное. И потом еще, — председательша покашляла и туго сжала губы, — жалобы на вас есть. Другого уже порядка. Ульяна Сотникова мне заявление сделала. Заверяют они, что вы будто бы самогон гоните? Теперь еще слухи идут, что вы по пьяному делу хомут на борова напялили. Взрослый человек, учитель, а такие штучки откальваете. Еще и лес чужой с делянки вы-

везли. Ведете себя, прямо скажу, непозволительно. А еще интеллигент, стихи, говорят, пишете про любовь и красные, понимаешь, зори. Я пока милицию не привлеаю, все с вами поговорить хочу, вызвать вас хотела.

— Да я...

— Все ясно?

— Все ясно. Как же насчет бани?

— Баню уберете. Дом перетащите. Мы вечерком тут обтолкуем, где вам участок нарезать. Вас директор фабрики уважает, Прасковья уважает. За что — ума не приложу.

— Позвольте!

— Лично по их просьбе помогаю, просили опекать. Могла бы и не помогать, не обязана: у меня на руках решение облисполкома. Вот туда и обращайтесь, если формально к вопросу подходить. А баню перетащите, невелика изба. Бегите. У меня тут дел всяких выше головы. Все запомнили?

— Все запомнил.

2

Сельсовет Павел Иванович покинул в самом подавленном состоянии духа.

«Что делать? Кто поможет?»

Сразу вспомнилась Прасковья Гулькина. «Она все уладит. Должна уладить!».

Учитель размашисто пошагал на гору, через бор, в контору рабкоопа. Он не замечал красоты, не внимал запахам, он не видел белопенных облаков, гонимых ветром вдоль горизонта. В глазах учителя было черно, он несколько раз с маху натыкался на коров, бродивших посреди деревьев, и говорил им: «Извините, товарищи!».

Дверь с табличкой «Заместитель председателя» была заперта, Павел Иванович уныло поворотил назад, не смея ни у кого осведомиться, где найти Прасковью Се-

меновну (он панически боялся теперь конторских женщин), и смирился с очередной своей неудачей. В коридоре Павел Иванович неожиданно был остановлен девицей, которая сказала, что Гулькина уехала на трехмесячные курсы повышения квалификации в Тюмень и оставила тетрадку, наказав передать ее Зимину.

— Вы Зимин, Павел Иванович?

Учитель после некоторого размышления ответил, что да, он и есть Павел Иванович Зимин. Девица сбегала куда-то и через минуту принесла тонкую ученическую тетрадку, сунула ее учителю и растворилась. На дворе, при ясном солнце, Павел Иванович раскрыл тетрадь, заполненную большими и круглыми буквами, похожими на Прасковью. Это были стихи.

Зимин в сердцах смял и бросил тетрадку, однако тут же подобрал ее, сложил пополам и сунул в карман: он уважал чужой труд, особенно же труд творческий. «Погибла для кооперации Прасковья Семеновна Гулькина, коли стихи писать начала. Хотя нет, слишком она трезвая женщина для поэзии, побалуется, да и бросит». Павел Иванович был спокоен за судьбу Прасковьи, больше его волновала судьба собственная, и он опять настроился на минорный лад. «Что делать? Неужели все труды и муки пойдут насмарку?».

Павел Иванович брел, спотыкаясь, под гору, к своей даче, и был похож на пьяного, он весь был в себе, налитый до краев черной печалью.

И вспомнил Павел Иванович такой момент своей биографии. Забавный, в общем-то, момент. Неожиданно было объявлено: «Вы, товарищ Зимин, включены в делегацию просвещенцев от города. Вы, товарищ Зимин, едете в Москву. А железнодорожного билета на вас не куплено, поскольку вы прошли добавочным списком, так что срочно доставайте билет».

Павел Иванович, тогда еще совсем молодой учитель, развил бурную деятельность, добрался через третьесте-

пенных знакомых аж до начальника дороги и косноязыко стал объясняться, кланяясь и прижимая шляпу к животу: так, дескать, и так — Москва, срочно, только вы можете помочь...

Начальник долго не понимал и морщился, как от зубной боли, потом, наконец, разобрался, что к чему, и долго, с удовольствием, смеялся:

— У нас поезда до Москвы пустые идут. В кассе, значит, есть билеты. Всякие.

Павел Иванович совсем растерялся:

— Спасибо... Извините. Ради бога извините.

— Идите,— устало сказал начальник.— Привыкли, понимаешь, с черного хода.

«И вот опять с черного хода я,— подумал Зимин с горькой усмешкой.— Да еще как!.. Как боров Рудольф— с хомутом на вые».

Павел Иванович беспокоило закрутил головой, сердце его екнуло и где-то в самой глубине существа зажглось искоркой, все разгораясь предчувствием великой беды. Зимин сперва прибавил шаг, потом припустил дурной рысцей в направлении своей дачи. Уже возле колонки, метров за сто от дома, он понял, что предчувствие не подвело его. Издали Павел Иванович увидел, что жесть на крыше летней кухни искорежена и смята, будто консервная банка, которую вскрывали пьяной рукой с помощью гвоздя или зубила. Торцовая стена кухни была разбита в прах, доски валялись по всему двору и дымилась.

Потом Павел Иванович впал в тупое забвение и, сидя на скамье, наблюдал безучастно, как дед Паклин снимает с проводов лодочным шестом голубые рейтузы жены Сони, как хлопочет Гриша Сотников, замечая следы. Гриша походя наставлял деда Паклина:

— Чуть чего спросят, говори: известку гасили, взорвалась известка, она потому что с карбидом оказалась.

— Все из-за тебя, Гришка! Будь он проклят, твой самовар!

— Рази я виноват, что реле отказало.

— Реле-меле! А вдруг милиция нагрянет?

— Не нагрянет. Никто не заметил, видишь, на улице пусто.

Дед Паклин снял голубые рейтузы с проводов, Гриша Сотников кое-как приколотил стенку летней кухни и пригладил по возможности жесть на крыше.

— Ну, все! — сказал Сотников. — Айда, старик. — И показал подбородком на Павла Ивановича: — Совсем опупел парень, как бы его еще кондрашка нехватила?

— Молодой, выдюжит, поди, — равнодушно отозвался дед.

Потом перед Зиминим остановилась его супруга Соня, в руке она держала чемодан. За спиной Сони пряталась дочь с рюкзаком на плечах.

Соня долго, пристально глядела в лицо мужу и качала головой, как над покойником:

— И до чего же ты докатился, Паша! Как хочешь, а у меня сил больше нет. Мы уходим. Это не отпуск, это — мука.

Дочь украдкой от матери обернулась напоследок, махнула отцу рукой и показала язык: она шутила, она прощала его. Что ж, и на том спасибо.

Павел Иванович остаток дня бесцельно, все той же пьяной походкой, бродил по селу и заглядывал людям в глаза, искал ответа на вопрос: знают они про его позор или еще нет? Он был виноват перед всеми.

Неподалеку от сельсовета учителю Зимину повстречался директор школы Роман Романович. Столкнулись они нос к носу, и директор заблажил от радости:

— Вот ведь как, на ловца и зверь бежит! К тебе все собирався, да завертелся тут, как белка в колесе. Из



отпуска отозвали ремонт заканчивать, без меня все остановилось.— Роман Романович привычно крутил на пальце связку ключей. — Не могут без меня и шагу шагнуть. Знаешь, Паша, я ведь в Томск ездил, в архивах рылся. И вот что выяснилось. Их два было!

— Кого?

— Сыча. Два было. Два атамана. Так не наш клад зарыл, а второй, который на Енисее орудовал.

— И что ты думаешь делать?

— На Енисей ехать надо, Паша. Попрошусь, скорее всего, туда работать.

— Куда?

— Ну, в Красноярский край. Да вот же на...

— Она тебя не любит?

Роман Романович ничего не ответил, лишь почесал нос и отвернулся. Дальше он начал излагать план по-

исков клада в Красноярском крае. Павел Иванович плохо слушал директора, он смотрел вниз. Там, внизу, около продуктового магазина, маячила желтая цистерна на тележке и с надписью: «Керосин». Около бочки мыкалась небольшая очередь, и продавец был в белом фартуке.

Павел Иванович перебил речь директора странным вопросом:

— Найдешь канистру?

— Зачем канистру?

— Керосину подкуплю. У меня керогаз.

У Зимина не было керогаза.

— Пойдем, возьмешь. Я к тебе подбегу вечером, да? Развеем горе веревочкой, да?

— Заходи...

Пока в школе искали канистру, керосин увезли в другой конец села. Павел Иванович попросил в магазине налить ему пять литров подсолнечного масла...

Первым отблески огня в темноте заметил дед Паклин, он выскочил во двор и сразу догадался, что у соседа, городского учителя, горит сруб. Горит не шибко, но основательно. Дед кинулся на пожар, подумав, что соседи спят, но они не спали: шагах в пяти от сруба сидел по-татарски сам учитель, на нем была нейлоновая белая рубашка с галстуком и при запонках, штанов же на нем не было, одни плавки. Рядом с учителем, распластавшись, подобно трупу, лежал боров. Поверх борова, на боку его, лежал изодранный хомут. К этому моменту Рудольф уже догадался, что рано или поздно люди съедят его, но он блаженствовал. Не он первый, не он последний жертвовал волей ради брюха.

— Принеси-ка хлеба, дед,— не оборачиваясь, приказал учитель.

Дед сбегал домой и принес целую булку. Учитель,

не поднимаясь на ноги, двумя руками, свободно, распахнул пасть борова и вложил туда булку, как в пустой сундук. Крышка захлопнулась, и по телу животного, мягкому, будто тесто, от горла до середины туловища пополз комок. Дед Паклин попятился от страха, крестясь, но задержался, повинувшись спокойной команде учителя:

— Посиди у огня. Рудольфа не бойся, он уже три булки вот так заглотил.

Сруб горел ровно и со всех углов.

— Карасином, что ль, облил?

— Самогоном. И постным маслом.

— Зачем самогон-то! Я бы карасину дал.

— Алкоголь — зло социальное, Нил Васильевич, его уничтожать надобно.

— Нет у тебя нахрапистости, Паша: попросить не умеешь, как надо, украсть боишься... — деду было жаль самогонки и потому разоблачал он с удовольствием. — А не можешь, не берись; деньги бы заплатил, люди бы по-людски исделали. Тыфу на тебя, Паша! И торопишься, когти рвешь. Куды торопишься — неизвестно. Да.

Учитель старика не слушал.

— Весь самогон-то спалил?

— Весь, без остатка.

— Нисколько и не осталось? — Дурак ты, Паша, и есть! — Дед плюнул и отворотился от огня. Потом смягчился и спросил: — Тушить будем?

— Не будем.

— Пошто?

— Я так хочу.

— Натуральная беда с тобой, Паша!

Близ фабрики игрушек сверкали фары — там разворачивалась по тревоге пожарная машина.

Емельянов Г. А.

Е 60 В огороде баня. Повесть. Кемерово, Кемеровское книжное издательство, 1980.

160 с. 30000 экз. 50 коп.

Геннадия Емельянова читатели знают по роману «Берег правый», повестям «Далекие города», «Бабьим летом» и др. В новой повести («В огороде баня»), рассказывая веселую и грустную историю о том, как робкий, застенчивый горожанин решил соорудить у себя на даче баню и что из этого вышло, писатель остро ставит вопрос о морально-этической, гражданской ответственности людей за свои слова и поступки.

—05
Е М 145(03)—80 —20—80—4702010200

Р₂

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	5
Глава вторая	19
Глава третья	29
Глава четвертая	43
Глава пятая	55
Глава шестая	65
Глава седьмая	76
Глава восьмая	84
Глава девятая	100
Глава десятая	118
Глава одиннадцатая	132
Глава двенадцатая	149

Геннадий Арсентьевич Емельянов

В ОГОРОДЕ БАНЯ

Повесть

Редактор *Т. И. Махалова*

Художественный редактор *А. С. Ротовский*

Технический редактор *Г. Н. Мамохина*

Корректор *В. А. Лузина*

ИБ 422

Сдано в набор 4.09.1979 г. Подписано к печати 29.04.1980: ОП00549. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 7. Уч.-изд. л. 7,19. Тираж 30000. Заказ 10728. Цена 50 коп. Кемеровское книжное издательство, Кемерово, Ногородская, 5. Типография издательства «Омская правда», Омск, пр. К. Маркса, 39.

Цена 50 коп.

ЦБС им. Н. В. Гоголя
г. Новокузнецк



13842100301788

50